Виктор Морт.

ХЭППИ ЭНД

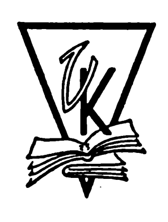
—НЕВЫДУМАННЫЕ РАССКАЗЫ—



ВИКТОР МОРТ

«ХЭППИ ЭНД»

(Невыдуманные рассказы)



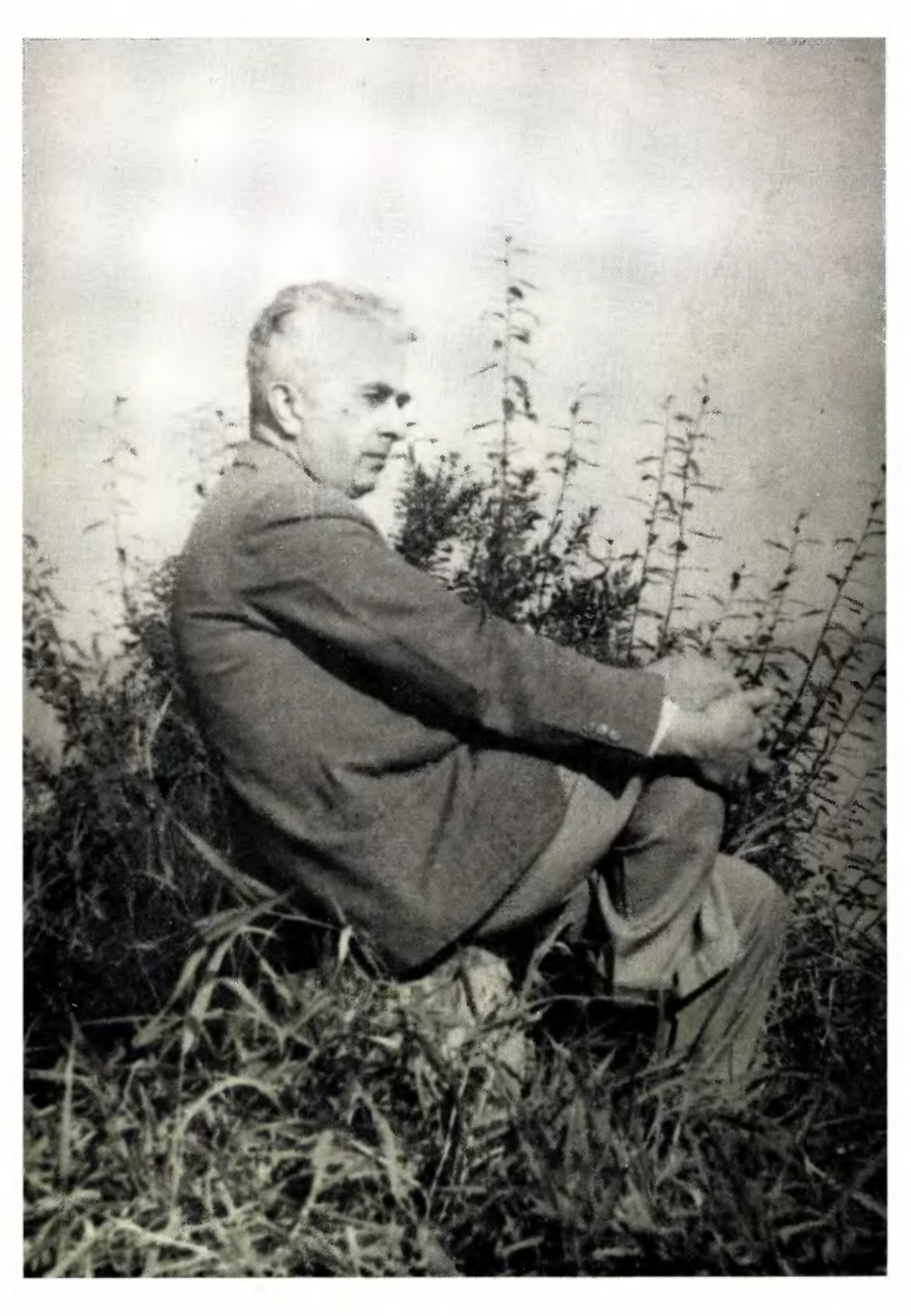
Вашингтон
1969

Эта книга напечатана в количестве 1000 экз.

Обложка работы Ю. Крюгера

Publisher: Victor Kamkin, Inc.
1410 Columbia Road
Washington, D. C. 20009, U.S.A.

Printer: I. Baschkirzew Buchdruckerei,
8 München-Allach, Peter-Müller-Str. 43.
Printed in Germany



Эту книгу посвящаю нашим детям и внукам, которые ее никогда не прочтут.

АВТОР

«Хэппи энд»

Я, не спеша, собрал бесстрастно
Воспоминанья и дела,
И стало беспощадно ясно:
Жизнь прошумела и ушла.

Блок

«Я сижу у окна, подперев голову раскрытыми ладонями; так когда-то изображали, да еще с крылышками, купидонов... Хорош купидон! — Перевалило за шестьдесят пять, да и крылья давным-давно обрезаны.

На дворе идет дождь, по стеклам ползут тоненькие струйки воды и, наверное, с улицы я произвожу впечатление плачущего. Впечатление обманчивое, но не далекое от истины. Поводов для радости у меня нет, а для слез — сколько угодно... Но я не плачу: я думаю, вспоминаю, грущу, тоскую и опять думаю. О чем? Да обо всем: о жене, которой уже нет, о детях, которые живут в других городах, о внуках, которые меня не помнят и не знают... О моей теперешней жизни... О болезнях, которые неизбежны и о *Ней,* которая придет следом за ними... А с чего началось?

Я работал на консервном заводе. Мои обязанности были, хоть и не сложные, но тяжелые: я и еще один рабочий мыли цехи горячей водой, убирали отходы, пода-

вали сырье и уносили тару. Все это — в горячем пару, в тумане и в обязательной спешке, ибо нас с ним ждут и мы всюду нужны. Заводик был старый, плохой и его хозяин не особенно гнался за новшествами. Мы, с напарником, в высоких резиновых сапогах, в таких же передниках снуем по цеху, обливаясь потом, таская железные мусорные бочки с пустыми банками и увозя с полными в упаковочную, в которой, хоть и тепло, но нет пара и этой, обременяющей душу и тело, мокрой жары... Так тянулось годами, со дня приезда в Америку в пятьдесят первом году. Искать другой работы не приходилось, ибо дома сидело трое и я был рад и этому. А потом привык, втянулся и она мне уже не казалась ни унизительной, ни тяжелой. Тысячи русских выполняют подобную же работу и рады, что живут в свободной и сытой стране. А потом устроилась и жена в госпиталь, на кухню, где мыла посуду и все такое прочее. Вот так, работая, вырастили детей и Петя, окончив университет, стал инженером, женился на американке и поселился отдельно. Дочь Клава стала стенографисткой, но с замужеством бросила работу и уехала с мужем-американцем в другой штат. И сразу мы осиротели. То, хоть в субботу и воскресенье мы отправлялись в гости к сыну и, давая ему возможность поехать куда-либо с женой, возились с внуком — чудесным и забавным мальчиком. Для нас это был самый лучший отдых. Но и тут, смущенный сын сказал нам как-то:

— Приходите пореже. Жене совсем не по душе ваши «ладушки-ладушки» и «гуси-гуси га-га-га».

Мы обиделись и перестали ходить, хотя это было для нас убийственно тяжело. Мальчик был нашей единственной привязанностью. Вместо нас невестка стала нанимать «беби ситтера» — няньку. Это было уже прямым оскорблением, а сын молчал. Да мы и не хотели

его восстанавливать против жены. Пусть, им виднее... Вот такие-то дела! А однажды на работе у меня закружилась голова. Это была какая-то секунда, но я остановился, и меня обдало холодным потом. Что это? Случайность? Переутомление? Сигнал? И прошло, как не бывало. Только через месяц эта неприятная секунда повторилась опять, а потом опять... И уже случаи головокружения не оставляли меня, хотя и не были такими частыми. А в один далеко не прекрасный день, мастер, проходя мимо меня, остановился, внимательно посмотрл на меня и, хлопнув по плечу, сказал:

— Гуд бой, Майк!

А он не был щедр на хорошее отношение.

Спустя месяц, один из рабочих спросил меня:

— Майк, сколько тебе лет?

— А вот скоро и шестьдесят пять, а что?..

— Да ничего, так...

Оказывается, все знали и видели мои припадки слабости, а я думал, что они заметны только мне. И... меня уволили. Строго по закону, когда шестьдесят пять «округлились». Хозяин подарил мне часы на руку и просил «заходить»... И жизнь вернулась в свое русло. Их жизнь: рабочих, фабрики и хозяина, но не моя. Я стал свободен, как птица. А лететь-то и некуда. Господи, как я когда-то мечтал о выходных днях, об отпуске! С какой радостью копался я в садике, позади нашего домика. Я говорил, что у нас был маленький домик с садиком? Нет? — Был, как же, был. Я сажал рассаду, окапывал и удобрял розы, полол, потом сидел на травке и завтракал любимой яичницей, принесенной туда заботливой Еленой Петровной. Мы любили наш домик, смотрели за ним, за садом. Одно сливовое дерево даже приносило плоды. По вечерам я выносил в сад пару летних складных кресел, купленных в «гудвилле» и

радиоприемник и мы слушали музыку. О другом отдыхе я и не мечтал. Правда, тянуло к внукам, но они были уже в других городах. Сын тоже уехал. А садик? — Садика тоже не было . . .

Как же это случилось? Тоже очень просто. Когда дочь вышла замуж и появился первый ребенок, ее попросили съехать. Они нашли другой дом, но там было так шумно и такое обилие детей, что они уехали оттуда сами. И как-то Елена Петровна, моя жена, сказала мне:

— Слушай, Миша, а что если мы с тобой переедем на квартиру, а домик отдадим дочери? Ведь у нее уже есть и второй ребенок, живут они в неважных условиях, а нам много не надо.

«А садик, а отдых, а независимость?» — мелькнуло у меня в голове, но жена уже прочла мои мысли.

— Я знаю, Миша, но ведь это наша дочь, наши внуки, а? Мы будем к ним приходить, ты будешь копаться в своем любимом садике, а ребятишки будут весело бегать вокруг тебя. Яичница? — Она тоже будет.

Дочь, когда мы сказали ей о нашем решении, кивнула головой и заметила, что от своих родителей она ничего другого не ожидала. Зять, как американец, покачал головой и сказал:

— Это, конечно, окей, но мои родители так бы не сделали. Это слишком.

И мы переехали . . . В начале было так, как мы и желали, но уже через несколько месяцев фирма предложила зятю лучшую работу в другом городе и, таким образом, наш благородыний порыв растаял в воздухе. А садик? А внуки? А отдых на травке у своего дома? — Все пропало, все было потеряно.

— Значит, так угодно Богу, — сказала Елена Петровна и мы «заскрипели» дальше, стесненные в двух комнатках. Может быть я упустил сказать одну «ме-

лочь»: продав наш домик, дети на эти деньги купили себе другой в том городе, куда они переехали ... А мы? — Мы остались у разбитого корыта. Жена знала, что мне, при моей работе, воздух и солнце были самой большой радостью и она уговорила меня ходить в парк. Там, сидя на скамейке, с книжкой в руках, мы любовались на чужих внуков и на чужую радость и ... перестали ходить. Тоскливо уж очень. Вот и сидели дома, читая или глядя на экран телевизора оставленного дочерью. Жалели ли мы о совершенном поступке? Может быть. Но мы никогда не начинали разговора на эту тему.

Как-то, придя с работы, Елена Петровна слегла. Сначала крепилась, а потом сказала, что как видно, надо в госпиталь. Мы оба имели страховку — без этого не проживешь, — и я ее отвез. Там определили, что организм истощен, большое переутомление и, главное, воспаление легких. Начались уколы и тому подобное. Я ходил к ней каждый день, а как-то раз она мне вдруг сказала:

— Никогда не думала, что так приятно болеть, Такой уход, покой и ... не надо работать. Миша, а как ты там, один на хозяйстве? Знаешь, милый, я уже не встану. Да-да, не спорь. Я это уже чувствую. Это бывает, когда предчувствия сбываются. Так вот и тут. Как ты будешь жить, кто тебе постирает, кто сварит обед? Впрочем, ты уже и сейчас в таком положении ...

Когда я протестовал, она улыбалась и молча гладила мою руку ...

Доктора сказали, что надежды мало и я написал детям о необходимости приехать проститься с умирающей матерью. Сам же я, все свободное у меня время проводил около нее. Ведь мы сорок с лишним лет, не разлучаясь, прожили вместе. Она слабела с каждым

днем... Умерла, держа меня за руку и последние ее слова были: «на детей не обижайся».

А дети? Дети не приехали. Причины? Разве могут быть веские причины у детей, когда умирают их родители? — По-моему нет таких, а они не приехали — вот и все. И я остался совсем, совсем один. Болезнь и похороны Елены Петровны сильно отразились на наших, более чем скромных сбережениях...

Я приходил с прогулки в тишину и запустение наших двух комнат, варил себе обед из консервных супов, ложился отдыхать, потом читал или смотрел телевизионные программы.

Детям о смерти матери я не написал. Зачем? Если они не приехали к умирающей, то что они сделают сейчас? Выразят мне сочувствие?..

Времени у меня — хоть отбавляй, а делать-то и нечего. Одиночество и не с кем перекинуться даже несколькими словами... Жутко... Я уже и отоспался, и отдохнул, и хотел бы опять на всякую работу, а ее-то и нет. Вначале я ввел режим: шел на прогулку; возвратившись, читал, принимался за уборку комнат, смотрел программы, шел гулять, варил обед, стирал и даже научился гладить. Обедал, опять читал, опять гулял... День тянулся, удивительно тягостный и скучный... Я установил экономию, строго распределив свои расходы в соответствии с пенсионным чеком. Многие «излишества» были урезаны и через два месяца я съехал с квартиры сняв одну комнату без удобств. В двух вещах я не мог себе отказать: не бросил курить и попрежнему получал русскую газету. Она приходила нерегулярно: то нет ее два-три дня, а то в один день — сразу три-четыре номера. Этот день был очень радостным. Если было тепло, то я шел в парк и, усевшись поудобнее, смаковал все от строчки до строчки. Сига-

рета разрезалась на две части и курилась через мундштук. Яичница с колбасой позволялась только по воскресеньям, после церкви. Церковь у нас маленькая, но красивая и внутри, и снаружи. Воскресных служб я не пропускал по двум причинам: во-первых, повидать людей, поговорить самому и послушать других, а во-вторых, когда публика расходилась, то наш священник, отец Андрей, лукаво подмигивал мне и говорил:

— Ну-с, Михаил Степанович, поехали? —

И пока он все готовил к поездке, я с косилкой обходил вокруг церкви. Это было не так уж для меня легко, но приятно. Затем выезжал «драндулет» — старенький автомобиль, мы усаживались и ехали на пасеку отца Андрея.

Став нашим священником лет шесть-семь тому назад, он купил небольшой участок леса, вырубил его, поставил «избушку на курьих ножках» и развел пчел. Ах, какое это было наслаждение лежать на траве, вести мирные разговоры обо всем и ни о чем и слушать непрерывное жужжание неутомимых тружениц... Удивительно, что пчелы не кусали нас. Мы там же и обедали чем Бог послал и вечерком, освеженные общением с природой, возвращались в шумный и беспокойный город. Пасека для нас была кусочком родины. Эти поездки давали мне бодрость и хорошее настроение.

С наступлением осенних и зимних дней картина менялась: я больше сидел дома, не выходил и томился в четырех стенах. Теперь только я начал понимать, что это за трагедия — одиночество человека, окруженного десятками тысяч людей и чувствующего себя, как на острове. Прежде я только читал об этом, а теперь сам почувствовал, что это значит. Я не мог себе придумать работы, да ее и не было. Странно, что мои головокружения прошли, но появлялись симптомы всяких дру-

гих болезней, которых может быть и не было, но которые стали мне казаться. Когда делать нечего, мнительности много простора для ее разрушительной работы. Зловещая тишина в комнате, особенно по вечерам, заставляла меня держать радио все время включенным с раннего утра, хотя днем жизнь большого города все же врывается в дом и напоминает, что ты не одинок. Ох, как одинок!..

Случайно нашел себе новое занятие: решаю кроссловицы до отупения. Но рад и этому, так как на эту «работу» уходят целые часы никому не нужной жизни и это помогает мне забыться... Получил по письму от детей и тогда сообщил им о смерти матери, могилу которой я навещаю каждый месяц, сажая там цветы и выпалывая травку. Спустя несколько месяцев сын прислал письмо, написанное невозможным русским языком и пять долларов. А ведь как он говорил и писал когда-то по-русски! Все забыл! Да, время берет свое. Мне хочется найти оправдание поступкам моих детей: работа, дети, семья, долги, беспокойство... Где уж думать о родителях. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы мои дети были иными, но невольно вспоминаю слова моего отца: «И у вас не минется, что у других людей поведется». Он был прав — велика народная мудрость!

Особенно тяжело мне вечером. Днем я еще выйду на улицу, пройдусь, куплю продуктов, остановлюсь где надо и не надо. Часто начал встречать, вернее замечать, супружеские парочки, вышедшие на покой — он с палочкой, она в шляпке, под косметикой. Идут, разговаривают. Может быть, у них такая же ситуация с детьми как и у меня, но им лучше тем, что их двое; и материальное положение, наверное, такое, что захотят, сядут и поедут к детям. Я же один и никуда не поеду... Да меня и не зовут...

Два раза был около нашего домика, который мы когда-то отдали дочери. Набрался нахальства и зашел в садик. Садик запущен, трава не скошена. Ах, если бы меня пустили туда! И подумал: если бы сейчас домик был мой, то я впустил бы какого-нибудь холостяка, хоть бы за двадцать пять долларов, чтобы оплачивать отопление, а сам возился бы с цветами и вечерами играл бы с квартирантом в шахматы, беседовал бы... Все-таки была бы живая душа в доме; а так?.. Между прочим, я заметил, что начал разговаривать с самим собою: то упрекаю кастрюльку, что она плохо отмывается, то пуговицу, что опять оторвалась, то воротник на рубахе, который я не могу как следует выгладить... Да что говорить, я всегда нахожу повод для разговоров. Я чувствую, что звук голоса успокаивающе действует на мои нервы. Правда, целый день талдычит телевизор или радио, но ведь это не родной язык. Вечером я сажусь в кресло, кладу ноги на соседний стул и погружаюсь в мир телевизорных иллюзий: смотрю до боли в глазах... Я знаю, что я не умру с голоду, что меня не выселят, что до конца дней своих я обеспечен углом и куском хлеба в этой благословенной стране, но я знаю и другое, что ничего больше я от нее требовать и не могу, например, чтобы она, эта Америка, освободила меня от тяжелых дум, от безрадостных мыслей и от этого страшного, угнетающего меня одиночества. Раньше, я еще пытался ходить в гости. Но увидел, что при всем нашем хлебосольстве и радушии, я — «незванный гость» и бросил это... Ко мне же приходит один только гость, это Зуненков, с которым мы работали на консервном заводе. Оттуда он ушел в поисках «легкого хлеба» и сейчас работает уборщиком. Это здоровый дядя, убежденный холостяк и его философский взгляд на жизнь очень прост:

— У меня уже перевалило за пятнадцать тысяч в банке и я чувствую, что я кум не только королю, но и самому президенту! Мне доступно все: захочу — куплю «Кадилляк», захочу — поеду в Европу, захочу — куплю дом. Но весь фокус в том, что это мое могущество освобождает меня от всех «хочу». Я ничего не хочу, но все могу... Я вам, как своему человеку, скажу, что я должен Толстовскому Фонду триста семьдесять пять долларов, но не отдам их, потому что у него этих долларов в десять раз больше, чем у меня и не пропадет он и так. Выдать вы меня не сможете, так как незнаете моей фамилии, под которой я приехал, а сейчас у меня уже другая — переменил, когда получал подданство, — он громко смеется, скаля свои вставные зубы. Я терплю этого человека потому, что это единственное живое существо, с которым я могу поговорить.

Входя в комнату, он наполняет ее своим телом, шумом, хохотом и назойливостью. Он приходит ко мне не бескорыстно, а за прочитанными номерами газеты.

— На чёрта я буду выписывать, если у приятеля они валяются без дела! Я, милый мой, всю жизнь прожил только для себя. Никаких жен, никаких детей! Лишняя обуза и расходы. Если без этого добра прожил, то и газету, как-нибудь, подберу чужую.

Когда он уходит мне становится противно и гадко. А вот такому живется куда легче нашего: не мудрит, не копается в своей душе и чувствует себя со своей банковской книжкой и счастливым, и богатым. Он не хочет думать о том, что когда-нибудь все его сбережения заберет государство. Да так ему и надо! Я знаю, что я должен сказать ему всё, что о нем думаю, но не могу: боюсь лишиться его общества.

Кто мне верен и не подводит — это телевизор. Я уже им отравлен. У меня определились мои любимые

программы, которые я никак не пропущу. Тут и «Люси», и «Бонанза», и «Ред Скелтон», и «Вирджиния». Я полюбил моих героев и живу их интересами и всегда жду встречи с ними. Я радуюсь тому, что около меня есть эти бесплотные люди, которые скрашивают мое тусклое и бесцветное существование. Они мои друзья и я не знаю, что бы я без них делал. С ума сошел бы от пустоты и бесцельности этого жуткого прозябания. Они заполняют мое время, отрывают от мрачных мыслей (а их всё больше и больше) и успокаивают меня. Я забываюсь, смотря часами в тусклое мерцающее стекло, не думаю о том, что ждет меня, и отдыхаю, тем более, что в большинстве картин принцип «хэппи энд» — счастливый конец — преобладает. Как бы тяжело ни было героям, как бы не было безвыходно их положение, но картина кончается торжеством справедливости и спасением того, к кому расположено сердце зрителя. Это чисто американский принцип: *хотеть, чтобы всем было хорошо.*

Это очень хорошее правило: вы удовлетворенно вздыхаете и думаете о радостной встрече с героями через неделю.

И так день за днем. Выходить я стал совсем редко. К чему? Надо одеваться, бриться, наводить «лоск». Кому это нужно? Вот схожу в магазин, нагружусь двумя кульками с веревочными ручками и ползу обратно. Всего хватает на неделю. После кульков всегда болит сердце. Уже и они стали тяжестью. А дома сижу в халате, не одеваюсь и кровати не прибираю. Я знаю, что так нельзя, что я опускаюсь, но не могу себя заставить. Один раз, когда я тащил свой груз, какой-то юноша подошел и помог мне. Видно, не особенно веселое впечатление произвожу я своим видом. Придя домой, я посмотрел в зеркало . . . Старик! Да еще какой! Седая ще-

тина, тусклые глаза, морщины, обвисшая желтая кожа и давно не стриженная голова. Запустил я себя, запустил... А почему? Во-первых, одиночество. Елена Петровна не допустила бы до этого. Во-вторых, если бы я работал, я чувствовал бы себя здоровым и физически и душевно. Выходные дни были бы радостью и настоящим отдыхом. Я бы их ждал и хотел. Теперь, когда я «выходной» круглые сутки, я чувствую слабость, у меня появилась одышка, сердцебиение, боли в пояснице и судороги в ногах. Сон мой тревожный и очень чуткий. Часто просыпаюсь; тогда я зажигаю лампу, беру книгу и читаю, пока дремота не одолевает меня опять; потом опять вздрогну, проснусь и с нетерпением ожидаю желанного рассвета. Когда в окне появится серая муть, я могу включить радио; за стеной шевелятся люди и я чувствую, что вокруг моего склепа бьется пульс чужой жизни. Я не один. Читаю я запоем, беря книги в церковной и городской библиотеках, где есть большой русский отдел. Странно то, что через три-четыре месяца я могу прочитанную книгу читать, как новую. Книги я набираю десятками, не считаясь ни с авторами, ни с названиями. Лишь бы читать и лишь бы по-русски: ведь читая, я ухожу от этого мира, чужого и пугающего меня своим безразличием ко мне. Я ведь никому не нужен. Разве это не страшно? Если я завтра умру, меня выволокут, и через день-два в моей комнате уже будет копошиться другой, такой же несчастный... И дни идут мутные, как давно немытое стекло в окне, тоскливые и до ужаса похожие друг на друга.

Еще одну странность заметил я за собой теперь. У меня глаза «на мокром месте». Стоит мне увидеть по телевидению сентиментальную сцену, которая, как говорят, «берет за душу» или прочесть что-либо такое в книге, как у меня в глазах появляются слезы. Совсем

сдали нервы, совсем... Несмотря на то, что я могу считать себя вполне отдохнувшим — я ведь ничего не делаю — я уже с середины дня чувствую усталость; и стоит мне прилечь с книгой или так просто, как я засыпаю. Правда, не надолго; то же самое бывает и перед телевизором и именно днем, а вечером я бодрее. А теперь новая привычка, скверная она или хорошая — судить не мне уж. Спустив утром ноги с кровати, я сижу, часами уставившись в одну точку. Зловещая, тягостная тишина наполняет место моего заключения. А что, разве это не так? — Выхода-то нет. Сиди и жди рокового исхода. Вед это пожизненное заключение человека, который абсолютно свободен, но осужден так доживать свою жизнь, которая когда-то была и веселой, и яркой, насыщенной встречами с друзьями, впечатлениями и переживаниями. А что сейчас? Что? — Пустота... Сколько раз можно вспоминать прошлое?

И тогда, заметив, что в моей комнате тихо как в могиле, я вскакиваю, и испуганно включаю радио или телевизор; или же, что еще хуже, начинаю громко и бессвязно говорить. Именно бессвязно, потому что звук собственного голоса успокаивает меня и доказывает мне, что я еще жив. Что я говорю — не важно. Важно, что говорю. Это для меня все. Мой страх — вот именно я нашел настоящее слово страх — проходит. Я перестаю дрожать, я начинаю чувствовать, что я еще человек, а не только его оболочка, как меня обозвал как-то Зуненков... Вот так начинается утро, а потом... потом, как я уже рассказывал, идет и продолжается день. День лишнего человека. Тютчев когда-то сказал:

«Лишь жить в себе самом умей».

Легко сказать!

Чуть ли не два месяца я не видел Зуненкова. И вдруг он пришел и смеется:

— Что испугались? Думали, что я окачурился? Наоборот даже. Я давно уже решил, что Америка дура; если она тратит миллиарды на иностранную помощь, то ведь я тоже иностранец, а потому я взял и бросил на пол там на работе апельсинную корку, а сам растянулся рядом, опрокинув ведро. Наделал шуму, крику. Меня подняли и отвезли в госпиталь. Я рассказал, как «случилось» — не будут же резать! — И что вы думаете? Два месяца не работал, ходил с костылем и получал пособие и страховку, потому что записали, как «несчастный случай». Отдохнул, как чёрт. Теперь опять работаю. Красота, кто понимает! Жить, милый, надо уметь. Не дай Бог такой жизни, как ваша, — и собрав все газеты, ушел . . .

Ах этот день, этот страшный день, сделавший меня калекой! Как сейчас помню: на дворе лил нудный дождь; я сидел у стола и решал очередную крестословицу. Комната у меня не светлая, поэтому лампа горит целый день. На столике, у кровати тараторило радио. Так было в этот день и вдруг музыка прервалась и голос сказал что-то встревоженно и громко. Наступила тишина, но через минуту музыка раздалась вновь. Затем опять оборвалась и взволнованный диктор начал говорить, волнуясь и не находя слов. Я поднял голову от газеты: «Что? Кто-то стрелял в президента? Он ранен? Что это такое? . .»

Я бросился к приемнику и усилил звук. Я растерялся: «Господи, черные силы подняли руку на нашего президента» . . .

События неслись с головокружительной быстротой. Сообщили, что в окровавленной машине, на коленях

своей жены, сжимавшей в руках безжизненную голову мужа, президент был отвезен в госпиталь.

— Правда, значит . . .

Рана смертельна. Телевизор показывает перипетии этой кошмарной истории. Я не заметил, как опустился на пол перед экраном и только почувствовал, как горячие старческие слезы потекли по моим небритым щекам:

— Боже мой, за что же? Почему ты позволил совершиться этому злодеянию?

Президент скончался.

Я помню, как я громко плакал и, обращаясь к иконе висевшей в углу, говорил захлебываясь:

— Господи, и Ты захотел этого? Ты захотел, чтобы погиб благородный человек, прекрасный семьянин и герой, жертвовавший своей жизнью во время войны, чтобы спасти товарища? Чтобы человек, думавший о благе всех людей, пал в наше беспокойное время от руки жестокого убийцы. Ты — справедливый и многомилостивый . . . Ведь это такая вопиющая несправедливость. Взял бы Ты наши жизни, никому не нужные, бесполезные и жалкие. Раздавил бы нас, червей, не живущих, а ползающих под Твоей всемогущей пятой: уничтожил бы нас, тысячи таких, как я, коптящих небо, беспомощных и ненужных ни Тебе, ни людям. Зачем Ты взял жизнь молодого чудесного человека, твердо стоявшего у руля великой страны и не дававшего темным силам захватить свободу мира?! . . Это он сказал эти бессмертные слова:

«Не спрашивайте, что для вас сделала Америка, а спросите себя, что вы сделали для нее . . .»

Да, а что я сделал для нее? Честно работал и все. И живу теперь ненужный даже самому себе . . .

Это были мои первые слезы после смерти Елены Петровны. Сердце мое сжалось и я прилег тут же, на коврике, на полу, не будучи в силах больше смотреть и слушать. Я хотел крикнуть, позвать на помощь (кого?) и потерл сознание.

Встать я не мог. Так и пролежал до вечера на полу, а когда добрался до кровати, то не мог уснуть... Страшно...

Потом я видел похороны. Маленькая мужественная женщина, вся в черном, вела за руку двух осиротевших детей. Весь мир оплакивал эту потерю...

Весь ли?!

В этом мире, близко принявшем к сердцу эту смерть, был и я, убогое существо, лежавшее на кровати и смотревшее воспаленными глазами на торжественно-великий в своей печали похоронный кортеж. Многомиллионная страна провожала своего президента к месту его вечного упокоения, и я всей своей душой был там, среди этих людей... Я — ничтожный русский эмигрант, жалкий в своем бессилии согреть себе даже чашку чая... Ну что ж, сказано где-то, что без воли Господа ни один волос не упадет с головы человека. Это была Его воля. Так возьми же и меня, Господи, не мучь!

Как видно, с этого дня у меня лопнула какая-то «пружинка»: головные боли не переставали меня мучить, а сердечные припадки стали все грознее и настойчивее. Я поехал к нашему русскому врачу, так как по страховке я имел только право на госпиталь. Доктор-старичок принимает дома и по вызовам уже не ездит. Выслушав меня, он сказал, что у меня грудная жаба, прописал таблетки нитроглицирина, добавив:

— Они должны быть всегда с вами. Понимаете, всегда. Дома, в церкви, на улице, в магазине. Под язык и садитесь — припадок пройдет. Не унывайте, с этой бо-

лезнью люди живут по пятнадцать-двадцать лет. Курить можете продолжать.

И вот я живу под вечным страхом внезапной смерти. И не так боюсь ее, как боюсь своей беспомощности, и бессилия встать за стаканом воды. Что может быть хуже и страшнее?

Я иногда пересматриваю наши фотографии и письма. Вот я в военной форме, жена в летнем платье и рядом Петя, малыш и плакса. Где это все, где? Остался старик, дрожащей рукой перебирающий пожелтевшие листики милых и восторженных писем... Все в прошлом... «Человек за бортом жизни» — истертое выражение, но как оно ко мне подходит... И я решил, что не могу жить больше один. Не могу. Мы с женой столько сделали для детей; так неужели же у них не найдется уголка в доме, какой-нибудь комнатки в подвале, где я, никому не мешая, буду тихо доживать свой век. Я не буду подниматься к ним в квартиру, я не буду попадаться на глаза не только гостям, но и детям, но я хочу иметь уверенность, что где-то около меня есть близкие родные люди, которые, выражаясь фигурально, «закроют мне глаза» в худшем случае, а в лучшем — вызовут карету скорой помощи и отправят меня в госпиталь, где я, может быть, никого не тревожа, уйду навсегда...

Имею я на это право? Я вас спрашиваю, имею? Так почему же мне стыдится и бороться с самим собой: писать им или не писать? Я, конечно, не буду требовать, но я буду просить и они поймут мое душевное состояние. Ведь они же люди! Ведь они к тому же еще и мои дети...

Позавчера в ванной комнате мне стало плохо, когда я купался. Я еле успел достать таблетки, рассыпая их в воду, и положил одну под язык. Счастье, что я поче-

му-то не запер двери и сосед, спустя минут пятнадцать, помог мне вылезти из ванны и дойти до моей комнаты. Ну, разве не страшно?

Долго я вынашивал решение написать детям, долго писал черновики и складывал их в коробочку, выбирая лучший вариант. По-моему это первое и последнее письмо в моей жизни, которое давалось мне с таким трудом и... стыдом. Я боялся. Ведь все-таки я просил. Не меня звали мои дети к себе, а я напрашивался к ним, как больная собака, желающая умереть у своего порога, около своих хозяев... Ах, как горько сознаваться самому себе! Наконец, наступил день, когда я сказал себе:

— Довольно малодушничать и тянуть — ты ведь мужчина и отец. Помимо обязанностей, которые ты с честью выполнил, ты имеешь и некоторые права... И я написал примерно в таком духе, как высказывался выше и закончил просьбой приютить меня, не боясь расходов. Мой месячный чек я могу целиком отдавать им. Мне много не надо, а на похороны и могилу у меня отложено. Послал заказным с обратной распиской. Обе расписки вернулись в порядке: на одной — подпись Клавы, а на другой, повидимому, Петиной жены. Теперь осталось ждать, кто первый откликнется и в каком духе будет ответ. Я не хотел вперед заглядывать, и поэтому старался больше читать, усиленно занимался крестословицами и выбирал наиболее спокойные для моего сердца программы, то есть смотрел те, где наверняка будет «хэппи энд». Зачем волноваться без причины? Мне даже стало легче, ибо я принял серьезное решение, которое внесет большие перемены в мою жизнь. Хороша жизнь! Человек, который ест, пьет и спит. Я не живу, я существую. А тут, все же будут люди, внуки. При одной мысли о ребятах, я загорался идеями: вдруг родители захотят, чтобы я занимался с детьми

русским языком или, гуляя с ними, рассказывал о прошлом русской земли. Мало ли что может быть! Я не сомневаюсь, что обе семьи хотели бы, чтобы их дети говорили по-русски, а тут вам и бесплатный учитель, да еще преданный и любящий! Я и об этом написал в письмах. Я решил подтянуться: надо уже заранее приучать себя к самодисциплине. Начал через день бриться и когда явился в церковь, то отец Андрей меня похвалил:

— То-то, отче, всегда бы так, а то совсем от рук отбился.

Он был прав, так как я уже два раза отказывался с ним поехать на пасеку, хотя он и заезжал за мной . . .

Прошло две недели. Конечно, я не ждал молниеносного ответа и был уверен, что переписка между детьми на эту тему была. Я стал чувствовать себя значительно лучше. Великое дело надежда!

Потихоньку и не торопясь, я стал подготавливаться к отъезду, выбрасывал ненужные вещи. Не буду же я везти с собою мои закопченные кастрюльки, чайник, кофейник и так далее. Уж очень они были непрезентабельны. Один чемодан я упаковал и он стоял, готовый к отъезду. Потом я поехал в пенсионный отдел и спросил: как трудно оформить перевод пенсии в другой штат.

— В две недели всё будет в порядке, — ответила расторопная барышня с улыбкой.

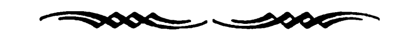
Как это у них делается, всё с улыбкой, вежливо и точно! Я вспомнил плакаты "Smile" — нередко висящие в учреждениях и в общественных местах. Да, ведь «Улыбка это флаг корабля»! А мой корабль огромный, могущественный. Самый лучший в мире. Это моя Америка!

Прошло еще три недели . . .»

***

И, когда Зуненков явился как-то за газетами и на его стук ему никто не ответил, хотя из комнаты слышалась музыка, он отправился к управляющему домом. Оба вошли в комнату. Жилец лежал на полу, смотря невидящими глазами на конверт, зажатый в правой руке.

Это был конверт с очередным пенсионным чеком.



Маленькая мама

«Блаженны чистые сердцем,
яко тии Бога узрят».

– Ну, появись окно. Ну, появись, что тебе стоит? Пора уже, давно пора.

В комнате абсолютная темнота . . .

Говорившая смотрит в сторону стены, где находится окно во двор, и шепчет эти слова. Еще очень рано, может быть, часа три-четыре ночи. Накануне шел дождь, на дворе пасмурно, и поэтому рассвет наступил позже. Но ей не хочется спать, ей ничего не хочется, и она машинально шепчет в надежде увидеть мутный квадрат, ветку и ствол соседнего дерева. И когда это все появится, хотя бы в тумане, она уже знает, что недалеко утро с его надоевшими процедурами . . . но все же . . .

Зашевелятся люди, зазвенит где-то посуда, по коридору прошлепают стоптанные туфли хозяйки и зазвучат голоса. Жизнь войдет в ее тоскливое однообразие.

У другой стены спит ее соседка по комнате. Если бы она спала спокойно, то это было бы хорошо, но она дышит тяжело, со стонами и свистом в груди, прерывающимся храпом. Первые два месяца из-за этого спать вообще невозможно было, а теперь Софья Михайловна привыкла, как привыкают спать люди, над домами которых со страшным грохотом проносятся ночами дже-

ты. Привыкнуть можно ко всему. Даже в тюремных камерах люди осужденные на пожизненное заключение, да еще в одиночке, привыкают и живут. Приспосабливаются. Но разве это жизнь? Страшно.

А вот она не может привыкнуть к своей жизни, не может. Она не в тюрьме, не в одиночной камере, она видит людей и разговаривает с ними, но она содрогается от мысли, что заврашний день будет походить на вчерашний и что перемен к лучшему не будет... Наоборот — может быть хуже, и она это сознает и от этого мучается, но никому не говорит о своих душевных страданиях. Ее не поймут, а если и поймут, то выразят деланное сочувствие, и все будет по-прежнему. У нее очень ясная голова, хорошая память, но физически она немощна. Нет сил. Прежде ходила, а вот теперь и этого не может.

И из-за этого — ах, как это ужасно! — ей должны менять белье, простыни, ибо сама Софья Михайловна не в силах пойти.

Ей стыдно не только людей, ей помогающих, но ей стыдно перед самой собой. Она себя стыдится. Если бы она была больна, без сознания, как некоторые другие, в этом доме доживающие свой век. А то ведь — нет. Она разговаривает, разумно отвечает на вопросы, но вот ноги, противные ноги, они не держат ее, подгибаются, и она падает...

Прикована к постели, вот в чем горе. Может быть, люди и понимают ее состояние, но они уже привыкли к таким, как она. Не она первая, не она последняя. Сколько таких, как она, прошло через их руки? Десятки, сотни, тысячи?

Ах, вот и рассвет. Квадрат на стене светлеет. Ей кажется, что она слышит даже щебетание птиц, но, конечно, это самообман. Только летом, жарким летом от-

крывается это окно — может быть, на два-три месяца в году, и то только днем. А так они дышат скверным, застоявшимся воздухом, этой маленькой, не особенно чистой комнаты . . .

А щебетанье слышится, потому что ей этого хочется. Хочется солнца, хочется сидеть на скамье в саду, чувствовать дуновение свежего ветра, обонять запах цветов, видеть птиц и слышать лепет ребятишек, проходящих мимо дома, где она теперь живет. И иногда, когда она этого сильно хочет, то ночью все это видит, слышит и даже различает аромат цветов.

Как она благодарна судьбе, что может заставить себя доставлять себе такую радость богатым воображением!

Соседка тяжело застонала и начала кашлять, потом шарит рукой и ищет консервную банку, куда она сплевывает. Как это все неприятно . . . Где-то хлопнула дверь, раздался громкий голос хозяйки; кто-то ответил. Люди в последнем пристанище просыпались . . . Никогда в своей большой и тяжелой жизни не думала Софья Михайловна, что вот так страшно она будет заканчивать свой страдный путь. Ей уже восемьдесят два . . . Много, ах, как много. Уже дети взрослые, и внуки есть. Беспокоиться не о чем . . . Все позади. Харбин, Шанхай, бегство, голод. А теперь все в Америке, и все в одном городе. Да, а вот она одна. Думала ли она, что может так случится? Но она покорна. Значит так надо. Так надо судьбе, Богу. Надо терпеть. И она не жалуется. Зачем? Людям и без нее достаточно хлопот. Конечно, могло быть иначе и даже должно бы быть, но . . .

Уже совсем светло. Можно зажечь лампочку у изголовья кровати, но если уж раньше не зажигала, то к чему теперь? Свет может помешать соседке. Пусть спит, Господь с ней. Вот направо, в углу против ее кро-

вати, висит маленький образок Николая Угодника. Его повесила Люба, младшая дочь. Хозяйка пыталась возражать, но с Любой нельзя спорить. Она слишком напориста, и всегда находит такие слова, что ей уступают, а то просто берет «криком». Она нервная, но справедливая. Две другие дочери уступают ей. Вера — потому что она флегматична и всегда хочет, чтобы все было «тихо и спокойно», она не любит споров и шума. А Надежда — эта писанная красавица, слишком горда, чтобы унизится до споров и взаимных упреков. Муж ее, иностранец из Южной Америки, смотрит на нее, как на икону. Он ее любит, слушается и побаивается. В то время, как у себя в конторах он царь и Бог, дома, он тих и послушен. А очень придирчив и даже жесток. Бывали случаи, что он бил по лицу своих служащих (своей национальности), и те терпели, потому что не хотели терять выгодной работы. Но одно слово своей повелительницы — и он тих, как ягненок. Он знает, что Надя его не любит, но она его жена, она принадлежит только ему, и он этим бесконечно горд и счастлив. Но самое главно, она мать его сына . . . Да, если бы не он, не видать бы им всем Америки.

Когда они все жили и мучились на Филлипинах на острове Тубабао, в надежде на лучшее, ее будущий муж был коммерсантом. И, будучи там по делам фирмы, он увидел Надежду. Тогда еще совсем юная девушка, она поражала своей красотой и холодным безразличием к людям. Уже тогда она усиленно изучала английский язык и объяснялась на нем. Как видно, она знала себе цену, потому что на десятки предложений от молодых русских людей, но таких же бедняков, как и она, отвечала отказом и насмешкой. Никому она не отдавала предпочтения, и о чем она думала и какие имела планы — никто не знал.

И вдруг появился этот делец из Южной Америки. Каким чутьем она угадала, что в этом человеке спасение всей семьи, она не рассказывала. Но она появилась с ним несколько раз на людях, ездила в его машине. Тогда Софья Михайловна замерла от страха: что это? кто это? Люба и Вера набросились на сестру.

— Ваше дело маленькое, — сказала она спокойно. — Когда надо, вас вызовут.

И в этом ответе было столько иронии, что все умолкли и с трепетом стали ждать, чем все это кончится. Полюбила? О, нет. Мать твердо знала, что ее Надя не пойдет в любовницы ради временных выгод. Значит, что-то задумала. Но ведь ошибиться тоже можно. И стать обманутой в наши дни — тоже легко. Люди ради своих выгод идут на любые подлости. Когда, однажды мать попыталась заговорить с Надеждой об ее поклоннике, та ответила:

— Мама, если мне нужно будет для того, чтобы убраться отсюда и увезти вас всех, продать свою душу чёрту, я это сделаю, и мне никто не помешает!

Первое, что случилось: их перевезли в город из этих ужасных бараков и поселили на частной квартире. Они начали питаться, как нормальные люди, и даже лучше. А Надежда гнула свою линию. Из этого государства — кажется Венецуэлы — начали приходить всякие бумаги. Надя и ее будущий муж куда-то ходили, хлопотали, и только тогда, когда была получена самая важная, где было сказано, что вся семья уезжает с нею, Надежда дала согласие на брак и приняла католичество.

— Доченька, как же это так? — плача спросила мать.

— Я уже вам сказала, мама. Перемена веры — это еще дешевая цена. Я большим жертвую.

С тяжелым сердцем сидела мать за богатым свадебным столом. Да, это правда, — дочь продала себя. Мать до сих пор не знает всех тонкостей, но их потом погрузили на огромный пароход, и они уехали на родину надиного мужа, а он остался заканчивать свои дела.

Это был мучительный переезд, но всех поддерживала мысль о том, что наконец они вырвались из железных бараков и избавились от страшных лагерных крыс и свирепых тайфунов, разрушавших все на острове... Когда приехали, то были встречены служащими мужа, перевезены в его усадьбу, и Надя повела себя там так, как будто родилась королевой.

— И откуда это у нее?

Все ее приказания исполнялись беспрекословно. Никто из семьи ничего не делал, и жили, как у Христа за пазухой. Потом прилетел муж, но, все равно, первый голос был за Надеждой. Он ни во что не вмешивался. Все видели, что он очень любит свою жену, и все знали, что он очень хочет иметь сына. Любила ли жена его? Хм, да любила ли она вообще кого-нибудь? Мать думает, что нет. Уж слишком холодна была эта женщина. Она выполняла свой долг перед семьей и мужем. Вот и все. И делала это честно. Семья ни в чем не нуждалась, а муж знал, что она никем не интересуется и другие мужчины для нее не существуют. Для такого мужа это было самое главное...

Матери и двум сестрам была отведена часть большого дома и предложено Надей, чтобы на ее половину без особой нужды не ходили.

— Мужу мало радости видеть вас, и поэтому сидите и не рипайтесь!

Первая взбунтовалась Люба.

— Я не хочу быть твоей приживалкой. Я хочу работать, иметь семью, и детей хочу. Я тоже женщина!

Надежда выслушала и ответила:

— В этой семье — вы семья моего мужа и поэтому работать не можете. Муж стоит выше этого. Не захочешь — можешь отправляться обратно на Филиппины. Иначе быть не может. Понятно? — и ушла.

Она располнела и расцвела пышной красотой. Ее голубые глаза и корона золотых волос делали ее очень красивой, а в глазах южан она была окружена ореолом. У мужа бывали большие приемы, где он с гордостью показывал свою красавицу жену, да еще русскую. В минуту откровенности дочь сказала матери:

— Муж сказал, что если у меня родится сын, мы все уедем в Америку.

— А ты уже ждешь?

— Да, мама, — ласково ответила она. — Я очень хочу уехать отсюда. Этот климат, люди и жизнь не для вас, да и не для меня, тоже.

Это был первый и последний раз, когда дочь так откровенно высказалась, даже перед матерью.

***

Ее мысли были прерваны появлением хозяйки дома для престарелых, где она находилась. Эта женщина всегда торопилась, шумела и покрикивала на своих подопечных. Первое, что хотела бы сказать ей мать, было бы: «Перемените мне белье».

Боже, какое это наслаждение — лежать на прохладных сухих простынях, не чувствуя некоторе время своих пролежней . . .

Но она не смогла это сказать, а только умоляюще посмотрела на хозяйку.

— Окей, окей, — поняла та, — все сделаем, — и повернулась к ее соседке.

А вот и еда.

Девушка внесла поднос, на котором была надоевшая противная каша и теплый кофе... А как бы хотелось съесть два яйца и запить чайком с лимоном. При одной мысли о нем во рту стало кисло и появилась слюна... Но, тут чаю не пьют. Все едят одно и то же. Яйца будут только в воскресенье. Коверкая язык, мать спросила девушку о белье. Но та равнодушно поставила еду на подставку, подняла рычагом кровать.

— Ешьте, ешьте, — и удалилась. Накормить надо всех, мать это понимала.

Давясь кашей, в которой был изюм, ею нелюбимый, и сгустки кашицы, так и не разварившейся на огне, она ела и шептала:

— Ешь, милая. Есть люди, которые не имеют ни крыши над головой, ни еды. И живут...

И вспомнила, как в годы скитаний она с детьми ела арбузные корки. Пока она ела кашу, кофе совсем остыл.. Холодное кофе... Брр... Но она и его выпила и ждала, когда заберут подставку, поднос и переменят белье. А это самое главно — лучше всякой еды... Ждала и думала...

***

Когда Люба узнала, что сестра ждет ребенка, она проявила столько нежности и заботливости к Наде, что та даже оттаяла.

— Ты чего мечешься? Ты так беспокоишься, как будто это твой ребенок.

— И мой, конечно, мой. Господи, что это за женщина, которая не имеет детей? Самолет без крыльев. И мотор есть, и колеса, и движется, а подняться до своих высот, предназначенных ему, не может. Грош цена такому самолету и такой женщине.

Рождение сына у сеньоры Гомец было огромным со-

бытием в жизни ее мужа. Мать потом узнала, что Надя была его третьей женой. Как же это можно? Он же католик!.. Деньги!.. — И у тех жен были дети, но только девочки, и это решило их судьбу. Первый раз за все время Надин муж пришел на их половину, поцеловал матери руку, а Веру и Любу в щеки и принес им огромные коробки конфет. В глазах его блестели слезы. Как был счастлив этот человек и как, видно, давно мечтал он об этом!

Люба не отходила от Нади, ухаживала за ней и за своим племянником и переехав на ее половину спала в комнате маленького сеньора Игнацио. Она никому его не доверяла, даже матери. Да, она была Мать с большой буквы. Стоило мальчику во сне закряхтеть, как Люба была уже тут, как тут. А настоящая мать преспокойно спала в своей роскошной спальне...

Ее попытка, для сохранения красоты ее форм, кормить ребенка с рожка — не удалась. На нее ополчились все, даже флегматичная Вера. Мать кричала на дочь, не считаясь ни с чем:

— Ты его родила, ты его и вскорми. Хоть и мало добра он получит от тебя, но он должен пить материнское молоко. Понимаешь ты, скверная дочь?

И маленькая, сгорбленная, она стучала сухоньким кулачком по колену Надежды. Испуганный сеньор Гомец стоял в углу и слушал, не понимая. Но по жестам Любы, которая тоже не молчала, и по ее горячности он инстинктивно понимал, что все они защищали его сына, его кровь, его наследника. От чего? Какие шумные эти русские! Надежда, гордая в своей красоте, лежала и слушала.

— Если бы ты не была вскормлена молоком нашей маленькой мамы, — Люба делает жест в сторону старушки, стоявшей у кровати дочери, — ты бы не

смогла сделать нам столько добра, пожертвовать собой и поехать в эту страну, навеки закабалив себя. Ты думаешь, мы не понимаем, что ты сделала? Так вот и ты дай своему сыну те крохи добра и честности, которые получила от мамы, понимаешь ты это? Бери, бери, я говорю!

Люба хватала ребенка из рук няньки и совала его Надежде. И та уступила. Снисходительно улыбаясь, она достала смою великолепную белую грудь и дала сыну. Тот жадно прильнул к матери. Сеньор Гомец опять вытирал слезы. Он понял. Его девочки этого не знали, там были кормилицы . . .

Вечерами они выходили в огромный сад их усадьбы, сидели у фонтана, смотрели на огромные, яркие, чужие им звезды, думали о родном крае и слушали свои песни, которые под гитару с таким чувством пела Вера.

Так шла их жизнь.

Русских людей не было, церкви своей тоже, и мать ходила в костел, огромный и величественный. Там было прохладно и неприветливо. Но ничего, Бог всюду один, и тут можно помолиться Ему и поблагодарить за все Его милости.

А маленький Игнацио, завидев Любу, улыбался ей. И только ей. Его маленькое неискушенное сердце понимало и чувствовало, что хотя кормилица его та, но всю доброту, всю свою нежность, весь свой огромный неизрасходованный запас чувств материнства, всю свою любовь отдавала ему эта женщина. И Люба платила ему тем же. Настоящая мать была равнодушна.

Как-то за обедом — теперь все обедали вместе — сеньор Горацио сказал:

— Я могу сообщить вам, что осталось очень немного времени, и мы все переедем в Америку. Я там буду представлять торговые интересы моей страны.

Стремительная Люба бросилась к Горацио и начала его целовать. Он очень смутился. В его стране подобные вещи не приняты.

И опять заполнялись всякие анкеты, бумаги. Их опрашивали, записывали. Но все это делалось дома, никуда не надо было ходит. Сеньор Гомец был слишком влиятельным человеком . . .

***

Прошло полчаса. У матери около лампочки есть звонок, но она им никогда не пользовалась. Неловко както звать. Смогут — сами придут. И правда, девушка пришла с простынями в руках. Они были старые, латаные, застиранные и совсем не белого цвета. Не отмывались уже. Она убрала остатки еды и грубо, но умеючи выдернула из-под матери простыню и клеенку. Затем заученным жестом перекатила ее в сторону, подбросила под нее свежую, заправила за края кровати, и в пару минут все было готово. Матери хотелось попросить, чтобы ее обмыли тоже, но это было бы роскошью. И то, и другое в один день делалось редко. Может быть, другим и делали, но не ей . . . Ну что ж: спасибо и за это. Она устало потянулась, с чувством большой радости ощущая еще не согретые постыни и, главное, прохладу свежего белья. Да, когда сюда приходит Люба, то все делается сразу же, немедленно. Та кричит на хозяйку и угрожает, что «разрекламирует» ее дом так, что никто не даст сюда своих родителей. Кроме того, когда приезжает сюда Надежда, то хозяйка, видавшая виды баба, совсем робеет. Надя с ней не разговаривает, а гордо идет по коридорам, брезгливо держа носовой платок у носа. Это правда, запахи кухни и непроветренных комнат не для нее. В автомобиле этой дамы свой

шофер, который открывает ей дверцу, а главное, что на радиаторе флажок какого-то государства. Это пугает хозяйку дома и она всячески заискивает и «заговаривает зубы» высокой гостье, пока комната матери спешно проветривается и меняется белье. Старшая дочь не засиживается и внука к бабушке не привозит никогда. На ее просьбы отвечает:

— Еще чего не хватало, чтобы заразился чем-нибудь!

Один только раз, по настоянию скандалившей Любы, Игнацио посетил бабушку. Какой изумительный мальчик! Высокий, стройный, смуглый красавец с голубыми глазами и блондин к тому же. От отца у него был только цвет кожи. Он молча стоял около матери, пока бабушка гладила и целовала его руки. По-русски он не разговаривал. Софья Михайловна сама не знала почему, но Надю, которая всегда была холодна и пренебрежительна к ней, она любила больше тех дочерей? За красоту? За гордость? За удачу в жизни? Она не знала, за что и не пыталась себе объяснить это. Так было всегда — с детства.

Как только они переехали в Америку, Люба поторопилась выйти замуж и поселиться отдельно. Муж ее, простой гаражный механик, американец, любил ее и так же, как и она, очень хотел иметь детей. Их было уже трое. Лаская малышей, Люба утверждала, что это еще мало для нее. Дети — это удел женщины, а семья и ее благополучие — ее задача. Слова ее не расходились с делом. Хотя муж и не так много зарабатывал для семьи из пяти человек, но дети их были всегда опрятно одеты (Люба обшивала их сама), чисты, здоровы и веселы. В этом доме всегда торжествовали улыбка и смех. Даже если кто-то болел, то остальные своим хорошим настроением и шутками подбадривали и больного и са-

мих себя. Люба успевала сделать все: обед всегда вовремя, дети отвезены отцом (по дороге на работу) в школу и детский садик, домик прибран и уютен, и даже трава скошена. Муж, приходя домой, находил все в полном порядке и довольстве. Ну, как не любить такую жену? Он даже подучивал русский язык и требовал от жены, чтобы дети говорили по-русски: «Это им пригодится в жизни, еще как!»

И дети говорили и учили отца, отдыхавшего после работы в их обществе, пока мать или шила, или стирала, или делала что-либо по дому. Работы хватало. Софье Михайловне было стыдно сознаться, что сына Нади она ставила выше всех остальных внуков. Те были простые, шаловливые дети, а этот гордый и замкнутый в себе мальчик внушал к себе уважение и вызывал душевный трепет бабушки . . .

Вера замуж не шла. Она устроилась на работу в какую-то контору и работала там на счетных машинах. У нее бывали поклонники, она их часто меняла и никому предпочтения не отдавала. Купила рояль, научилась играть на нем, пела, ходила по ресторанам и на танцы. Жила, как она говорила, весело. Мать не одобряла ее поведения, но кто считается с мнением матери, да еще здесь в Америке? Все сыты, одеты, обуты. Хорошие квартиры, обстановка. Что такое мать при таких обстоятельствах? Самое лучшее — приживалка. Самое худшее — прислуга, на которую можно безнаказанно кричать и сердиться, не получая в ответ ни слова.

У Веры была хорошая квартира из четырех комнат, и в одной из них жила Софья Михайловна. Она готовила, убирала, и еще оставалось много времени. Иногда, если Вера в воскресенье просыпалась в хорошем настроении, мать уговаривала ее поехать в церковь. А если нет, то сама садилась в автобус и ехала, дав записку

с адресом шоферу. Тот ее высаживал на нужной улице, а со временем она научилась ездить и без его помощи... И была очень рада. Родная православная церковь на чужой земле... Молилась истово и душевно, забывая обо всем. Чего просила? Благополучия и здоровья дочерям, их мужьям и внукам и благодарила Господа за все Его блага и милости, что Он дал им... И за спокойную жизнь в лучшей стране мира... Иногда плакала. Плакала, вспоминая, как тяжело работала в Харбине после смерти мужа... Все делала: ходила на поденную стирку и уборку квартир, торговала в разнос и даже взяла на себя непосильную работу извозчика и мерзла на козлах, думая о детворе, запертой дома. Боролась за жизнь упорно и настойчиво, а замуж не шла, потому что боялась, что отчим не уживется с детьми. А в них видела свое счастье и смысл жизни. И добилась, вывезла их из красного Харбина в Шанхай, да и там не пропали... Плакала, молясь за родину, где жили тяжело и трудно миллионы таких же, как она... А вот им повезло, помог Бог!..

Игнацио никогда не забывал Любы, и ее приезд к Наде всегда был для него праздником. Он снисходительно играл с детворой, но предпочитал беседовать с теткой. Такой же большой привязанностью платила ему и Люба. И они всегда находили, о чем говорить.

— Это мой первый ребенок, — шутила она, прижимая белокурую головку к своей располневшей груди. Она уже не была той изящной и стройной, как когда-то. Да она и не жалела. Дети — это был лейт-мотив ее жизни.

Иногда на неделю-две Надя забирала мать к себе. У нее был целый особняк с прислугой. Она жила широко и богато. Хотя маленькая, сгорбившаяся мама и чувствовала себя здесь затерянной и чужой, но она была

рада видеть Игнацио, сидевшего перед телевизором, Надю за книгой, и зятя с сигарой во рту. Она старалась меньше говорить. Да и с кем? Только ведь дочь в этом доме говорила по-русски. Софья Михайловна старалась здесь никому не мешать, так как делать ей здесь было нечего. Ни обед сготовить, ни пыль вытереть не нужно. Все будет сделано прислугой. Главное — видеть старшую дочь и внука.

Ведь любила она их больше всех. А они ее? Меньше всех. Так бывает в жизни и объяснить это невозможно. Потом «маленькая мама» переезжала к Любе. Почему ее стали так называть? Дочерям бросалось в глаза, что по мере того, как вырастали их дети, мать становилась все меньше, все суше, все «легче» — съёживалась както . . .

Так вот у Любы всегда был «дым коромыслом». Дети шалили с бабушкой, помогали ей по хозяйству: вытирать пыль, подметать и даже возились в кухне. С ними бабушка молодела. И это не было бессмысленное баловство. Нет, они действительно работали, как помогали всегда матери, даже включая сюда маленькую Соню, названную так в честь бабушки . . . Действительно, здесь она чувствовала себя «в своей тарелке». Все ее любили, все старались угодить и помочь, и даже зять, придя в своей грязной спецовке с работы, радостно кричал.

— Баба, борщ! — и ему давали его любимый борщ, да еще со сметаной. И вся семья садилась обедать, а бабушку сажали на почетное место, в кресло.

Как горда она была тогда, как счастлива . . . И все же сердце Софьи Михайловны тяготело к Наде и ее сыну.

Неисповедимы пути Твои, Господи!

Спала она в комнате с младшими внуками и ночью вставала, когда Соня плакала и просилась . . . Сажая

эту малышку, мать вспоминала своих, когда они были такими же. Время! О, Господи, как быстро пролетело время. Мало уж ей осталось... Вот так и протекала жизнь этой уставшей, старенькой женщины между тремя домами, между тремя родными сердцами. Теперь-то их больше стало... Век бы так...

Но, как видно, где-то суждено, чтобы было иначе. Стараясь быть полезной, бабушка полезла в шкаф, чтобы достать заранее, к обеду, любимую тарелку для внука, оступилась, упала и сломала ногу. Звала, звала на помощь, но никто не слышал, так и лежала. Старым костям много не надо. Отвезли в госпиталь, подержали, сколько считали нужным, а потом сказали:

— Забирайте, в таком виде может жить и у вас.

А вид-то такой, что нога срослась неправильно, наступить на нее нельзя, и пришлось пересесть в кресло на колесах... И вот тут и поняла «маленькая мама», что она уже не подмога, а обуза. Не она может помочь, а ей надо во всем помогать. Это ее страшно испугало. Если легче всего было жить у Нади — прислуга, достаточно комнат, безделье, — то у Веры и Любы получалось иначе: она мешала. Да, да, вместо того, чтобы помочь и сделать что-нибудь, она ждала, когда ее повезут в кресле; у самой не хватало сил крутить колеса. А Вера жила на третьем этаже, а у Любы в доме ступеньки и тесно, тесно.

Страх, самый настоящий страх объял старушку. Немощная. О, Господи! Дети и виду не показывали, что все стало по-иному, но мать видела это и сама. Внуки уже не играли с ней и не звали на кухню помочь: там негде было повернуться самим, а тут еще кресло, да на колесах. И она одиноко сидела в гостиной, раскладывая пасьянс, или, сложив сухонькие ручки, прислушивалась, не идет ли Вера. Господи, и обеда нет и не при-

брано. Беспомощная и ненужная. Это так угнетало, что она еще больше похудела, съежилась и уменьшилась. Она чувствовала себя виноватой и не могла ничем искупить своей вины. И вдруг ее осенило в одну бессонную ночь:

— А ведь в этой стране есть старческие дома. Она слышала об этом. Я не могу тяжелой гирей висеть на ногах своих детей. Им хватает своих забот, а тут еще и я, да бесполезная. Как начать этот разговор?

Она знала, что будет протест, крики, упреки и слезы, но и помнила те времена, когда она говорила:

— Деточки, делайте так, как мама сказала. Так будет лучше.

И дети беспрекословно слушались. Но это было очень давно . . .

И она решила начать со своей любимицы, тем более, что теперь большую часть времени она жила здесь, но не знала, что если ее брали к себе Вера или Люба, то это было по настоянию Нади.

— Это неудобно, чтобы она все время жила у меня. У нас бывают приемы, гости, а она . . .

Люба ничего не сказала, но посмотрела на сестру так, что та и без слов поняла ее мнение о себе.

И вот она однажды обратилась к дочери:

— Надюша, я знаю, что это неприятный разговор, но я хочу, чтобы ты помогла мне в этой маленькой просьбе.

— Что еще, мама?

— Как бы мне устроиться в старческий дом, жить там, а?

— Почему же? Это хорошая мысль.

И как-то сразу оборвалось сердце и стало холодно-холодно.

«Как это было кстати», — пронеслось у Нади. Дело

в том, что муж давно хотел закрыть контору в городе и перевести все дела в дом, где они жили. На это требовались минимум три комнаты. С нового года решено было уволить шофера и машиной управлять самим. Так что предложение Софьи Михайловны было очень кстати. Сама Надежда, при всей ее сухости и решительности, не смогла бы сделать матери подобного предложения. А тут она сама...

— Как легко ее любимая дочь согласилась на это. Да, но я же сама этого хотела. Это не она сказала, — пронеслась мысль.

— Если ты хочешь знать, мама, то тебе будет там во сто раз лучше, чем у нас. Там и уход, и еда вовремя. Там и доктор, если надо. Одним словом — полное внимание.

Как не могла понять ее Надя, что никакой уход и доктор не заменят ей родных детей, с которыми она прошла такой большой и тяжелый жизненный путь, никогда не расставаясь. И вот теперь — в чужую среду, с чужим языком, ну, без всего того, что сейчас ее держит на этой земле и что ей дороже всего.

* * *

Вот и теперь: она вспомнила об этом разговоре, и скупые слезы потекли по сморщенным щечкам... Ненужная и забытая. А на дворе был прекрасный день, солнечно, тепло и тихо. Вот если бы ее вывезли в кресле во двор, на террасу, где она часто сидит летом. Да, но кому это нужно? — одна возня. И вдруг девушка внесла обед. Обед? Уже, значит, прошло полдня? Воспоминания помогают ей убить время. Да, иначе это и нельзя назвать. Ведь целыми днями, в одном положении, в кровати, с окном в глубине комнаты, в котором чередуются ночь и день... Обед. Надоевший горохо-

вый суп, а то томатный, а потом крошеное мясо с горошком и желе. Все это консервное, нудное, противное. Вот сейчас бы ей у Любы дали зеленого борща, да пельменей, до которых она такая охотница. И, представьте, при этих мыслях она явственно ощутила вкус того, о чем думала, а потом даже услышала сочный хруст арбуза и, закрыв глаза, увидела его . . .

***

Она не знала, что после разговора с ней Надя срочно просила сестер приехать к ней по важному вопросу.

— Девочки, — сказала она, — мама хочет переехать в старческий дом.

— Маму в такой дом? — вспыхнула Люба.

— Никакой это не «такой дом». Тысячи стариков живут так. А кроме того, ты так говоришь, как будто бы готова взять маму к себе.

— Навсегда, конечно, нет. Она же была у нас по очереди. И мне, конечно, очень трудно. Вы же знаете, что я жду четвертого . . .

— Сумасшедшая, — бросила Вера.

Говорили долго. Люба плакала. Она сознавала, что это предательство, что за все то, что сделала для них родная мать, она этого не заслужила. Но получалось, что выхода нет. У Любы невозможно — и смотреть некому, и места нет. У Веры? Той целый день нет дома. Но вот у Нади? Она отказывается все брать на себя, хотя ей это абсолютно нетрудно: и дом, и прислуга, и деньги . . .

— Девочки, — сказала Люба, плача, — для того, чтобы мама сказала о том, что она хочет в богадельню, она должна была почувствовать, что она нам не нужна.

Когда была здорова — да, а теперь — нет. И вот она додумалась до этого. Ведь это же подлость.

— Я сказала вам не все, — заговорила Надя. — Кроме истории с конторой, которую муж переводит в дом, еще одна история. Когда Игнацио был болен, мама давала ему пить какую-то свяченую воду и учила его креститься по-нашему. Муж об этом узнал и закатил мне скандал.

— Тебе скандал? Ты не из этого теста.

— И он начал настаивать на поселении мамы отдельно.

— Ага, вот откуда ветер.

— Пусть ветер, пока нет бури. И . . . — она замялась, — он часто летает в Южную Америку, где у него завелась зазноба своей национальности. Я не особенно напугана, девочки, у меня есть магнит в лице сына. Кроме того, я настолько в курсе дел нашего представилетьства, а испанский я уже знаю, как английский, а английский, как русский, что я ему нужна не только как жена, но и как советник, помощник и лицо, которому он может доверить все. Я этого добилась не легко. Я смотрю всегда вперед и хочу предвидеть всякие возможности в моей жизни. Ведь моя жизнь, сестрички, в некоторой степени и ваша. Поймите же и вы меня теперь . . .

Люба молча обняла сестру, а Вера положила свою руку на ее и пожала. Все трое согласились платить за содержание матери, и когда Любу хотели освободить от этого «налога», она сказала:

— Я не такая уж бедная родственница, чтобы у меня не нашлось денег на родную мать.

Дом был подыскан, красивый и снаружи, и внутри, а назывался «Пансион Улыбка». За домом был сад со скамейками, креслами и фонтаном. В сад выходила

большая терраса, на которой жильцы сидели в тени или когда шел дождь. При доме числился врач, делавший обход всех ежемесячно. Была большая гостиная с телевизором и цветами в кадках по углам. Диваны, кресла, камин. Зимой там было много людей: смотрели фильмы, принимали гостей, играли в карты и домино, слушали пластинки и радио.

Когда мать увозили в дом, туда поехали все три дочери. Если Надежда была величественно молчалива и сидела рядом со своим шофером, то на заднем сидении ютились Софья Михайловна, Люба и Вера. Эта сидела бледная, с закрытыми глазами. Было видно, что ей это все тяжело. Люба не скрывала своих переживаний, держала руку матери и, целуя ее, плача говорила:

— Мамочка, дорогая моя мамочка! Зачем это, зачем? Простишь ли ты нам это преступление?

— Господь с тобой . . . — шептала старушка, не глядя на нее.

— Нет, не можем мы, не имеем права отдавать тебя в чужие руки. За что? Чем ты провинилась перед нами, маленькая мама? Девочки, что же вы молчите?

— Не делай хуже, — по-английски сказала старшая, — успокаивать надо, а ты . . .

Обняв мать и прижав ее к себе, как маленького ребенка, Люба плакала громко, не стыдясь ни своих слез, ни слов, которые обжигали своей правдой.

Магический флажок на машине заставил хозяйку принять новую жилицу на улице, усадить в кресло и идти рядом до ее комнаты. Так началась новая жизнь Софьи Михайловны.

Когда, оставив мать, все уселись в машину, Люба сказала мертвым голосом:

— Ну, вот и похоронили мамочку.

— Молчи, дура. Не рви сердце! — крикнула Надя. Это было в первый раз в жизни, что сестры услышали ее крик. Больше ни слова не было сказано . . .

Мать в гостиную не ходила. Ей мешало незнание языка, а потом ведь ее надо усадить в кресло, везти. — Ах, лучше полежу со своими мыслями. — Да и когда приходили дочери, было приятно поговорить у себя в комнате, где она была одна. А потом, спустя полгода, поставили еще одну кровать и положили какую-то старуху, говорившую по-польски. Матери стало легче, они как-то понимали друг друга. Когда Люба хотела протестовать против «уплотнения», Софья Михайловна упросила ее не поднимать этого вопроса. Ей так лучше . . . А потом старуху-польку убрали, и кровать пустовала несколько недель.

Дочери приходили. Надя и Вера не чаще раза в месяц, а Люба умудрялась раза три, а то и больше. А ведь ей было трудно — слишком много обязанностей несла она на своих плечах. Да и автомобиля у нее не было (муж забирал на работу) — приходилось ехать автобусом. Всегда кто-нибудь из детей сопутствовал матери, а малыш был на руках. И хотя Люба, любившая мать больше всех, бывала часто, а Надя редко, — все же сердце матери тянулось к ней. Она расспрашивала о жизни старшей дочери и внука с любовью и жадностью, и Люба не обижалась. Своими частыми визитами она хотела искупить вину всех. Однажды, когда она застала мать лежащей на мокрых простынях (не всегда эта посудина помогала), она устроила хозяйке такой скандал, что было слышно во всех комнатах. Та, обычно грубая и дерзкая, оправдывалась, все время думая о флажке на автомобиле. В следующий приезд дочь привезла полдюжины новых простынь с буквами и, передавая их хозяйке, сказала:

— Вот, чтобы у вас не было недостатка. И помните: «посол» может закрыть ваш дом, и ничто не поможет. Берьте мне, — и хозяйка верила.

Самый лучший подарок, какой только могла придумать младшая дочь для «маленькой мамы», это была поездка на Рождество в церковь, после почти годичного пребывания в «Улыбке». К дому подъехал весь «колхоз», муж Любы вынес мать на руках, а кресло спрятали в багажник, и под веселое щебетание детворы Софья Михайловна, смеясь, радуясь и восхищаясь этой выдумкой, поехала в церковь. Ах, как это было хорошо!

Только Люба могла это придумать и претворить в жизнь. Она, с ее энергией.

В церкви к Софье Михайловне проталкивались старые знакомые, шутили, поздравляли. Люба с радостью смотрела на оживление матери, ее улыбку и веселые реплики. Вокруг стояли внуки . . . Человек просто воскрес.

Но когда мать опять очутилась в своем «изоляторе», как она называла свою комнату, тоска гнетущая и цепкая ухватилась за усталое сердце. Родные стены лечат лучше всякого лекарства — она твердо верила в это. Но . . . родных стен уже не было, как не было и родных лиц и голосов . . . С четырех стен на нее смотрело серое равнодушие. На другой кровати храпела чужая женщина, и вокруг были безразличные к твоим чувствам и страданиям люди. «Улыбка» была, но довольно кривая.

На Пасху Люба в церковь ее не повезла — были больны дети, — но потребовала от Нади совместного визита. Когда все три дочери вошли в комнату с куличом, яичками и сырной пасхой (все дело Любы, конечно) «маленькая мама» истерически разрыдалась. Она хватала детей за руки и плакала и от горя, и от обиды, и от счастья, и от всего того, о чем не хотелось ни гово-

рить, ни думать ... Но думать приходилось ежедневно, вернее ежечасно, потому что так получалось, что она днем дремала, чтобы искусственно изолировать себя от дневной суеты, а ночью думала и тихонько разговаривала сама с собой ... А дети приходили, но все реже и реже. Ведь сколько дела у них. Сколько занятости, деловых и семейных беспокойств. А подрастающие внуки? Сколько времени надо уделять им! Это у нее так много времени, что она не знает, как его скоротать, а у тех, наверное не хватает ... Жизнь требует своего. Это так, это верно, но ведь раньше-то времени хватало навестить ее. Мать не сомневалась в том, что дети знали, как они ей нужны, как она рада их кратким приходам и разговорам с ними. Ведь она молчит целыми днями. Она — живой, общительный человек! Значит, так надо. Так хочет Бог. И она смирялась, но это ее смирение отражалось почему-то на ее здоровье. Она худела, слабела, стала хуже видеть и слышать и уже не мечтала о поездке в церковь ... Ей казалось, что это будет ей не по силам.

Апатия и равнодушие — страшные спутники старости — были все время рядом.

***

Во дворе уже потемнело. Неужели близок вечер? Да, но ведь сегодня тридцатое сентября (календарь под подушкой). День Веры, Надежды, Любови и матери их Софьи. Сегодня дети должны быть обязательно. Этого дня они никогда не пропускали и являлись к ней иногда вразброд, а иногда вместе. В свое время, когда она была дома, этот день отмечался особенно торжественно. В Америке его обычно справляли у Нади.

Сеньору Гомец объяснили, что такое «день ангела», и он тоже присутствовал за столом, правда, недолго. Все было богато сервировано, приходило много гостей. Было шумно и весело ... Но в родном Харбине это было во сто раз лучше. Там, в этом празднике была душа, а здесь ее не было. Справляли по привычке, стараясь, чтобы все было, как можно лучше, потому что всегда за столом были иностранцы, которым многое было непонятно и странно, а нам было и близко, и понятно, и нужно. Как, чтобы в русской семье не отметить «день Ангела»!

Тут тоже и пили, и смеялись, но было не так. А может быть, годы делали свое дело? Но так или иначе, но этот день никогда не забывался ... И вот сегодня ... День уже идет к концу, а никого нет. Никто не пришел. Правда, может быть, Вера уехала в отпуск, Надя занята; она теперь энергично помогает своему мужу в делах, а у Любы могли заболеть ребята ... Нет, нет, все равно должны были приехать. Ведь это каких-нибудь полчаса, чтобы навестить мать. Сердце сжимается от обиды и физической боли. Забыта? Ведь этого никогда не было.

За все время пребывания в этом доме она ничем не огорчила своих детей, ничем. Всегда улыбающаяся, разговорчивая, она всем интересовалась и даже шутила. Когда дети спрашивали ее:

— Мамочка, не надо ли тебе чего-нибудь? — она неизменно отвечала:

— А чего мне еще? Коржей с маком? Слава Богу, все есть.

— Но, может быть, мама, тебе здесь что-нибудь не нравится, что-нибудь плохо, скажи? Мы поговорим, мы поможем.

— Да что вы, мои милые, все хорошо, все в порядке, и кормят, и поят. Нет, нет, чего уж там, — кривила она душой впервые в жизни.

А сама думала: «Ну, вот, скажу, пожалуюсь. Будет шум, крик, а то и перевезут меня в другой дом. А что там, лучше будет? Может захотят и более дорогой, а для чего? И так уж немного осталось. Зачем нервничать и детям, и хозяйке, да и самой будет стыдно в глаза посмотреть. Обойдусь ... Вот если бы они меня домой взяли, насовсем ...» — и улыбалась.

Дети улыбались тоже, и все кончалось хорошо. А когда они уходили, и в коридоре затихали их шаги и голоса, старушка, отвернувшись к стене, тихо плакала ... Да и слез почти не было, все уже выплакала, а только несколько слезинок, да щемящая боль в безмерно усталом сердце.

А разве мы не знаем, что подчас несколько безмолвных слезинок дороже целого потока слез и причитаний. Эта молчаливая, материнская скорбь!

***

Девушка зажгла лампу у потолка и принесла ужин. Все было сделано быстро, ловко и нетерпеливо, Хотя пансион и назывался «Улыбкой», но ее не было. Девушка торопилась, это была ее последняя работа, и она уходила. Убирала посуду та, что дежурила ночью. Старуха на соседней кровати ела очень шумно, и жадно чавкала. Софья Михайловна никак не могла привыкнуть к соседке. Жаловаться? Да, может быть, она несчастнее ее во сто раз. К ней-то никто не приходит. Она всегда пыталась разговаривать и, несмотря на молчание матери, говорила громко и торопливо. Даже во

сне вскрикивала и металась. Может, жаловалась, бедняга?

Значит никто не придет? Боже мой, Боже мой, первый раз за всю жизнь! Может, это и есть начало конца?

Так нехорошо закружилась голова, и перед глазами поплыли цветные круги. Разве может она есть, когда ей нанесена такая обида? Дети мои, дети! За что? Лежала она так долго, и когда открыла глаза, увидела, что несъеденная еда убрана и лампа потушена. Хозяйка строго за этим следила...

Спала? Вот день и кончен. Значит, это уже твердо — никто уже не придет, не навестит, не скажет ласкового слова, не погладит по маленькой сморщенной ручке, не поцелует... А, может быть, завтра? Какая же разница? Лишь бы пришли. Она тихонько шепчет себе слова утешения:

— Придут, завтра придут.

А сердце болит, кто-то жестокий сжимает его, маленькое и бессильное, своей безжалостной рукой... Ох, как болит! Надо помолиться. Но не так, лежа в кровати, а по-настоящему, по-хорошему, на полу, на коленях, истово. Может быть, своей молитвой она искупит свою вину. Свою? А в чем же она сегодня виновата? Она — неподвижная, жалкая. Все равно — Бог знает лучше. Она напрягает все свои силы, а их нет, совсем нет, чтобы сползти с кровати.

— Сойду, все равно сойду. Не бойся, милая.

И вот так, уговаривая себя и шепча слова бодрости и утешения, она добралась до края кровати. Она знала, что если спустить сначала ноги, то не устоит, а сразу же упадет. А вот если на руки — руки-то сильнее, — то это безопаснее. Она так и сделала. Свесившись с кровати, мать поставила руки на пол и начала их передвигать, как будто шла на руках, а тело покорно ползло

за ними. Когда большая часть туловища была над краем кровати, сил не хватило — руки подогнулись, и вся она шумно, как ей показалось, упала на пол . . . Упала и замерла. Господи, хоть бы не проснулась соседка. Она будет звонить, поднимет тревогу. А так, она знала, никто уж не придет — ночь ведь. У кровати был коврик, старенький, потертый и выцветший. Взяв его в левую руку, она поползла с ним в угол, под икону. По дороге отдыхала. Путь-то был далекий для нее. Добравшись до желанного места, она разостлала коврик и вползла на него. Сердце билось тревожно и неистово. Шутка ли — «дошла»! Сидя на пятках, Софья Михайловна отдыхала и даже улыбалась.

— Долезла — таки. Ну вот, сказала и сделала. Не бойся, милая.

Подняв голову в сторону иконки (она побоялась даже зажечь свет у кровати), она начала шептать слова молитвы. Это не была молитва, которую можно было бы найти в молитвослове, нет. Это была своя молитва, свои слова, идущие из глубины души. Она давно уже не молилась так. Она сознавала, что вторично такое «путешествие» будет ей не под силу, и хотела в этот раз сказать все, что, казалось, не говорила раньше в своих беседах с Богом. Она не забыла слов настоящих молитв . . . А почему эта молитва не настоящая? Она молилась «за всех и за вся». Молилась долго, шептала слова и сама их слышала. Ей казалось, что она видит огоньки свечей и чувствует запах ладана, ну, как в церкви, в ее лучшие времена, с детьми . . .

А смертельный холод понемногу охватывал ее, начиная с ног. Нет, она не сознавала этого, да и не думала ни о чем, кроме своей просьбы к Богу. Чтобы все ее близкие были здоровы, жили в мире, были счастливы . . . Она находила слова, она вспоминала всю свою жизнь и

молилась о ней. Благодарила и просила, но не роптала, нет. В последних словах просила у Господа одной милости — умереть по-христиански. Где-то, глубоко-глубоко таилась одна мысль: попросить у Бога смерти. Хватит уже, пожила. Но мать считала, что это грешно, что Он Сам знает. когда призвать ее к Престолу Своему. И она не просила. А мысль эта была давно с нею, но она отгоняла ее, а та упорно возвращалась. Она знала, что это грешная мысль. Нехорошая мысль . . . Склонив голову на коврик в глубоком, продолжительном поклоне, она со своими редкими, седенькими волосами, разметавшимися на нечистом полу, чувствовала себя такой счастливой в этом общении с Всевышним.

Она просила Его милостей для всех людей, тоже. Чтобы всем было хорошо. Ну, разве это плохо?

И так, с головой, лежащей на коврике, она замерла в недосказанной молитве . . .

А утром чужие, равнодушные люди взяли этот маленький одеревеневший комочек, съежившийся и почти невесомый, и унесли его из «Улыбки».



Мамы, дорогие наши мамы, разве такую вы заслуживаете участь?!



Синий шевроле

Я знаю, что найдутся люди, которые осудят мой образ жизни, но я им доволен и все тут . . . Люблю выпивать. Люблю, но знаю меру и никогда не пью в одиночку, так, что в разряд алкоголиков меня записать нельзя. Однако, очень часто, но не ежедневно — прикладываюсь. Кончив работу, отправляюсь шляться. Честно говорю, что другого слова подобрать не могу. Я сажусь на первый попавшийся автобус или линию метро и еду. В самом неожиданном месте я выхожу и иду куда глаза глядят. Где-то пообедаю, где-то посижу, где-то поглазею на людей. Этими «предметами» можно любоваться всегда, настолько они разнообразны в своем однообразии. О. Генри, которого я крепко люблю и считаю настоящим писателем, знал людей и поэтому его короткие рассказы, как бриллианты: ярки, красивы и неожиданны, как сияние этого драгоценного камня.

Я тоже черпею темы из встреч с людьми и за эти десять лет, что я живу в Америке и, в частности, в Нью Йорке, я изучил язык настолько хорошо, что не только говорю, но и пишу. Меня печатают. А недавно я испытал настоящее удовольствие: в приемной редакции «моего» журнала, где я сидел, критиковали и хвалили мой последний рассказ, не зная, что автор сидит тут же . . .

Интереснее всего бывает вечерами, когда я забираюсь к чёрту на кулички, захожу в таверну и наблюдаю. Бывают очень интересные встречи и исповеди. Слушаешь, пьешь, разговариваешь и, придя домой, записываешь, иногда довольно сумбурно... А утром на работу. И если бы мои сослуживцы знали, что я вчера беседовал с бывшим убийцей или с отсидевшим 20 лет или, что еще интересней, с человеком, которому грозит пожизненное заключение, но он не пойман, они очень удивились бы. К чему это? Может быть они и правы.

Если бы я имел близкого человека около себя или семью, то я был бы иным, но не судилось. Женщина, которая была мне дорога, как никто, отказалась уходить со мной из горящего Киева. Не хотела обрекать себя на лишения и скитания, как говорила она. Недостаточно любила, так сказал я, и ушел с немцами. Сначала одиночество меня тяготило, а потом свыкся и даже полюбил его. Свободен, как птица. У меня даже есть план: бросить красавец Нью-Йорк и укатить в Сан Франциско — город ветров, туманов и преступлений... Когда я достаточно выпью — мне море по колено. Ударят? Отвечу. Убьют? Туда и дорога. Не очень-то я цепляюсь за жизнь. Я никому не нужен и живу сам для себя. И поэтому я лезу в самые опасные места, где драки и поножовщина обычное явление. Судьба меня бережет, иначе бы давно и раздели, и ограбили. Да и убили бы. А так — не трогают. Духом чуют, что я немного свой и немного из их мира. Генри ведь писал свои рассказы, сидя в тюрьме, может и я до этого достукаюсь. А что до уголовников и садистов, то они зачастую среди нас и в гостиной и в конторе предприятия.

В июне этого года я забрался раз в такую глушь, что сам не поверил тому, что существуют еще такие места:

бродяги и проститутки тут уже самого последнего разряда. И грязно, и скверно, и опасно. Это было «дно» похлеще горьковского. Я сел на «вертушку» у стойки и взял вина. Каждая уважающая себя таверна имеет гремящую «музыку», две-три машины для игры, лотерею на стойке и иногда телевизор. Он обычно стоит высоко на шкафу, так, что с любого стула и из любой кабинки посетители могут наблюдать убийства, геройства и любовные сцены. Так было и в данном случае: здоровые и веселые ребята носились верхом по прериям и в свободное время сворачивали друг другу скулы... Замечательные истории из своей практики рассказывают иногда «бартендеры», но им верить надо с опаской. Очень часто они пересказывают прочитанное, а слушатель в это время пропустит еще стакан...

Тяжело дыша, на стульчик, рядом со мной, опустился человек в помятой грязной шляпе, небритый и, повидимому, уже выпивший. Буфетчик понял его мимику и молча подал вина и пива. Эти комбинации обычны в тавернах дешевого порядка: скорее захмелеешь. Жадно опустошив оба стакана, человек отвернулся от мерцающего экрана и закрыл глаза. Он подпер голову обеими руками и замер. Когда же на экране замелькали полуголые девушки, сыщики, преступники и загремели выстрелы, мой сосед глубоко вздохнул и громко и грязно выругался по-сербски. Я с удивлением посмотрел на него и спросил тоже по-сербски:

— Братушка, откуда родом?

Серое, усталое лицо человека озарилось улыбкой.

— Земляк, говорит по сербски? О, — радостно застонал он, — как хорошо, какая удача! — и он попросил еще вина. Положив свою грязную, левую руку на мой рукав, как бы боясь что я уйду, он торопливо заговорил:

— Вы наверное не знает, какое счастье услышать родной язык в таком месте! Как радостно. Вы серб? О, моя дорогая Сербия! И вот, видите, — грязная таверна Нью-Йорка. Как жизнь играет людьми.

Я заметил, что слезы заблестели в его глазах. Даже если это и пьяные слезы, то этот не врет, наверное. И сразу пробудилось профессиональное чутье журналиста.

— А как вы попали сюда? — спросил я. Он махнул рукой.

— Господи! Как? Да, как тысячи и десятки тысяч других, бежавших с родной земли. А вы разве не такой?

— Да, — согласился я, — такой . . .

— Ну, вот. А я еще был у Драже Михайловича — святого человека, который любил свою Сербию, как иногда мать детей любить не может. Мы боролись рядом с ним и против немцев, и против Тито. И когда его предали и казнили, куда было нам деваться? Надо было бежать. Захватил свою Милену и пошел скитаться по лагерям, пока добрался до этой страны. Но не всех она делает счастливыми . . .

Мой интерес к собеседнику несколько угас. Неудачники, которые мне попадаются, обычно или клянут жизнь или ругают Америку. Они-то всегда правы, а другие виноваты. Кажется, этот пьянчужка был в одной из этих категорий. Тут я вспомнил:

— Да, а почему вы выругались?

— Проклятый телевизор! Он виновник всех моих несчастий.

Я насторожился.

— Да, да, не подумайте, что я вру, придумываю. С него началось. Разрешите еще стаканчик? И мы пересядем отсюда, хотите?

Я согласился и, когда мы пересели за столик, я закурил свою трубку, а он потянулся к стакану. Впрочем, я заказал для обоих.

***

— Я, — начал он, — был счастливым мужем и отцом. Когда я женился, я думал, что буду сапожничать всю жизнь. Но через два года война ударила по нашей стране и все пошло вверх дном. Что было, не надо рассказывать. Вы и сами знаете и читали. С женой и двумя детьми я добрался до этого города. Я, вольный сын сербского народа, очутился, как в клетке. Дома, дома, автомобили, тяжелый отравленный воздух и работа до одурения. За работу я взялся, как зверь. Мне надо было прокормить и одеть троих, не считая себя. Мне-то самому ничего не надо. Да, еще квартирка в две комнатки в пятиэтажном доме. Было тяжело, но я не унывал. Я был спокоен за детей. Теперь — мне работать, ребятам учиться, а жене заботиться о всех. И я нажимал изо всех сил. Дети, когда мы приехали сюда, были: сын — десяти лет, и дочка Рада — восьми. По-английски все ни в зуб. Я на заводе занимался тяжестями — перевозил стальные болванки на вагонетках. Понимал работу без языка. Жена, что-нибудь купить съестное — с грехом пополам справлялась. А вот дети, эти мои золотые, приходили в слезах. Они ничего не понимают, а ученики смеются. Только наша горячая любовь, ласка и забота поддерживали их в этом тяжелом испытании. Они знали, что после школы им есть кому пожаловаться, около кого отдохнуть и кто их поймет и успокоит . . . Извините, я еще стаканчик, тяжело вспоминать, — он пошел и вернулся держа в дрожащей руке два стакана. — Надо быть отцом или матерью для того, чтобы

понять слезы, горести и болезни детей. Кажется, руку бы отдал, чтобы облегчить страдания больного ребенка, но ты бессилен и только мечешься в тоске по комнате. Да, так вот.

Он говорил, а я краем глаза смотрел на очередное убийство на экране телевизора, где молодой человек топил надоевшую ему девушку.

— Мы знали, — продолжал мой собеседник, — что наступит перелом и дети одолеют эту премудрость, недоступную для нас, но надо только время. Первые год-полтора им было очень тяжело. Я их гонял на улицу, приводил соседских ребят, чтобы они больше практиковались в разговоре, пускал их в гости к соседям, где они смотрели телевизор и приучались к языку. Нам самим было еще далеко до такой роскоши. Даже белье Милена стирала внизу, так как у нас еще не было своей стиральной машины, и не было холодильника. Мы были очень экономны и дрожали над каждым долларом. Жена как-то сказала, что она смогла бы устроиться на ночную смену в пекарню и нам было бы легче. Моя Милена на фабрике, ночью?! Господи! Но она уговорила меня и год, большой, тяжелый год, мы работали оба, но потом я сказал: «Нет, так дальше нельзя!» Она осунулась, побледнела, стала нервной. Сколько она спала? Но за этот год мы купили все, о чем мечтают все приехавшие в Америку: и стиральную, и холодильник, и приоделись. Дети уже говорили по-английски, не боясь насмешек, и даже иногда дома, забыв родное слово, заменяли его английским... Милена опять стала прежней. Чистота, порядок, наша вкусная еда вернулись на прежнее место. Забывшись, жена на кухне начинала петь наши родные, задушевные песни. Я и детвора затихали, слушая мать. Я закрывал глаза, и на меня веяло родными ветрами, пахло родной землей. Как

мы были счастливы! Вот, только то, что ребята ходили по чужим квартирам нам не нравилось . . . Хватит уже. И мы, на Рождество, решили с женой сделать им сюрприз: земляк, работавший на мебельном складе, устроил нам с большой скидкой — телевизор. И когда загорелись свечи на маленькой елке, стоявшей на столе, мы сняли простыню, закрывавшую стол, и вытащили из-под него аппарат. Знаете ли вы, что такое детская радость? Испытывали ли когда-нибудь то чувство гордости, которое переживают родители, зная, что они виновники этой радости? О, это незабываемое чувство! Да, и ради кого мы жили на свете? Наша родина, наша маленькая Сербия, была теперь для нас в этих двух существах, бегавших и шаливших в квартире. Здесь было все! И в эти часы мы забывали, что за окнами шумел огромный, равнодушный город, с его грязью и преступлениями . . .

Жизнь шла. Рада хоть и была на два года младше Любомира, но усвоила многое раньше него. Носила на голове конский хвост, ходила в штанах и знала много песенок, передававшихся по радио. А сын? Сын был крепыш с горячим взором и широкой грудью. Он хорошо учился и был лучшим спортсменом школы. Мы уже с горечью заметили, что дети считали Америку для себя всем, а далекую родину знали только по нашим рассказам и были к ней равнодушны. Английский язык становился для них роднее и ближе. Что делать? Я стал заниматься с ними по субботам по-сербски. Учил читать и писать. Это для них было мукой, а для нас их безразличное отношение ко всему, что мы любили, было тяжело и отзывалось болью в сердце. Приходилось принуждать или вознаграждать: то дать денег на кино, а то закрыть «тиви» на целый вечер. Это было самое тяжелое наказание. Были ссоры и слезы. Мать стано-

вилась на их сторону, и я был один. Постепенно семья разделилась: то, что я считал нужным для детей, считалось принуждением. Страсть к телевизору становилась прямо пагубной. Придя из школы, оба могли целыми часами сидеть перед экраном; там же ели, там же готовили уроки. Когда я протестовал против этого, то поднимался крик, плач, и Милена уговаривала меня уступить, именно тогда, когда уступка была непоправимой ошибкой. Жена говорила, что дети занимаются хорошо, и лучше чтобы они сидели дома, чем бегали по чужим квартирам. Иногда я уступал и это был мир, купленный дорогой ценой. И еще: я заметил, что дети наши стали другими. Я не говорю о внешности, нет, — это нормально. А вот, у них появилась какая-то самоуверенность, смелость в суждениях и они вступали в споры с матерью. Какая-то независимость сквозила в их поступках и словах. То, что я часто видел у американских детей. Меня они еще боялись, а ее ни во что не ставили. Она уступала, она мирилась с этим. Она же мать. Но я не мог этого переносить: мы их кормили, мы их одевали, недосыпали ночей, стараясь для них! Ведь это было так ясно, что вся наша жизнь с женой была единым служением детям. В праве мы были рассчитывать на благодарность, признательность, любовь и ласку?! Это уходило из нашего дома и отношения становились суше. Мы-то с Миленой не изменились (правда, постарели, устали). Мы только и жили интересами детей: расспрашивали о школе, о друзьях и подругах. Но ответы получали неполные и, я бы сказал, неискренние. Как будто в их жизни появилось что-то такое, что надо было скрывать от нас. Это огорчало, обижало и злило. За что? Раз, когда детей не было дома, а жена подметала пол, я заметил среди сора окурок. Окурок в доме, где никто не курит? Вы знаете сербскую кровь?

После скандала и чуть ли не драки, я и жена произвели обыск в комнате детей. И у сына под матрацем оказалась пачка сигарет. Жена умоляла меня не быть зверем, но я уже не мог ... Когда сын вернулся, я его избил так, как только бьют у нас на родине.

Мы уже не раз думали о том где и с кем встречаются наши дети? Ведь это улицы Нью-Йорка, а не тихого Загреба. Тут и не увидишь, и не узнаешь. Дети же должны побегать и получить свою долю развлечений. Кино, спортплощадка. А кто там? Не пойдет же мать с ними? Они уже достаточно взрослые. В церковь же идут из-под палки. И долго, и скучно и почему нет скамеек, как у других? Так вот изменилась наша жизнь. Подружки у Рады были с намазанными губами и развязными манерами. Такой постепенно становилась и наша дочь. С кем поведешься ... Губ не мазала, потому что мать била по губам. А когда дети ложились спать, мы еще долго шептались:

— Это, как болезнь — надо переболеть и пройдет. Если бы все дети вырастали в Америке такими, как они есть сейчас, то не было бы этой сильной и богатой страны. Отшалятся и будут настоящими американцами.

— Да, но кто-то гибнет и кто-то становится преступником. Какая гарантия, что наши не попадут в эту категорию?

— Гарантия? Семья. Наш пример и наш родительский глаз не допустят до этого.

— Все это так, но ...

Вы когда-нибудь бывали в кино, когда там преобладает молодежь, а особенно подростки? Я был один только раз. В зале и у кассы полиция. Ребята разговаривают полным голосом, то встают, то уходят, то приходят целыми табунами. Но не это важно. Как ведут они себя, сидя в креслах? Видели? Объятия и поцелуи

получили полные права в наших кино. К особенно увлекающимся (в зале, к счастью, достаточно светло) подходит полицейский, извиняясь, что топчется по нашим ногам, и приводит безобразников в чувство. И так целый день до закрытия театра. А рядом с влюбленными парочками сидит еще более молодое поколение и учится... Страшно... Чья-то преступная рука ведет умышленно молодые души к распаду и гибели. Сами американцы признают, что подобного у них никогда не было. И тут же в кино мои дети тоже. Они не могут этого не видеть и не принимать этого близко к сердцу. У них молодая кровь, да еще сербская...

Я в тот вечер видел, как какой-то отец под улюлюканье подростков тащил свою дочь из зала и хлестал ее по щекам. Много ли таких отцов в Америке? Милена содрогалась, а я знал, что так и нужно. Недаром вы-русские, говорите, что «за битого двух небитых дают». Мы с женой спорили, обвиняя друг друга в заступничестве, в уступках, а потом усталые засыпали. Судьба детей — наша судьба. Мы требовали от них, чтобы они приводили в дом своих друзей, хоть посмотреть на них, что это за люди. Но это случалось редко. Дети стеснялись наших двух комнат, нашей бедной обстановки, а особенно нашего английского языка. Да и в присутствии родителей были они не особенно разговорчивы со своими приятелями.

Мы были очень бережливы и всегда копили на «черный день». И этот день пришел сразу и неожиданно... О, забыл самое важное: когда сыну стукнуло семнадцать лет, он с отличием кончил гимназию. Был парад и он в мантии и шапочке получил диплом и награду. Наши сердца были переполнены радостью и гордостью. Недаром мы бились, чтобы наши дети вышли в люди. Вот и первые результаты. И Милена уговорила меня

(ох, как я боролся!) сделать самый приятный подарок сыну и всем нам — купить автомобиль. Что долго говорить — купили. Не новый конечно, но красивый и в хорошем состоянии — синий Шевроле. За неделю сын сдал экзамен на управление машиной и уже в церковь мы поехали как капиталисты. Смех: загребский сапожник едет в церковь на автомобиле! Дальше были мечты: уехать из этого города и купить свой дом. Мечты... Да, — он выпил еще. — И однажды, возвратясь домой, я услышал разговор дочери с матерью.

— Все девочки одеты, как картинки, имеют квартиры, деньги, автомобили, как полагается людям. А мы кто? Веселые нищие. Мы и пригласить к себе никого не можем в эту грязную яму. Вот и ходим мы с братом по людям, чтобы не видеть этого убожества.

— Да, как же у тебя язык поворачивается говорить подобное? Ты разве не видишь, как отец работает?

— Так иди и ты работать. Мы уже не маленькие, не пропадем. А так концы с концами еле сводим. Посмотри на телевизор, как люди живут. Другой ничего не делает, а все есть.

— Преступник?

— Не знаю... И сами живут, и дети как сыр в масле. «Тиви» врать не будет: оно жизнь показывает. А мы тут, как оборванцы. Другие за эти годы в Америке все, все имеют.

«Чёрт возьми, — подумал я, — может быть она и права. Мы все бережем и копим, а дети наши не имеют того, что имеет каждый американский ребенок».

Но тон, которым девчонка разговаривала с матерью, взорвал меня. Мы ли не старались для них?! На мой окрик она вызывающе ответила:

— Не надо иметь детей, если не можете их обеспечить!

В ответ на это я хотел ее ударить, но мать стала между нами, и я в первый раз в жизни ударил мою дорогую Милену. Тогда я кричал, что не надо становиться между отцом и ребенком, что так ей и надо. А ночью плакал и просил прощения. О, вы не знаете моей жены: она же успокаивала меня и обвиняла себя, что слишком много поблажки дает детям, вот они и платят за это неблагодарностью. О, моя Милена. Недаром мы с ней шли плечо к плечу . . .

И вот пришел он, черный день: на элеваторе, перевозившем тяжести, дверью мне раздробило руку. Дошлые хозяева доказали, что это моя вина. Одним словом — вот она, кормилица — и он показал искромсанную кисть правой руки. — Я уже был не работник. Меня уволили, дав две тысячи долларов, чтобы не доводить дело до суда. Я бился и метался в поисках работы, после того как рука зажила, но это было не так просто. Кому нужен калека? После того мы еще больше сократились в расходах. Мало ли, что может быть. А дети продолжали жить своими интересами. Но все же мир не без добрых людей. Через американские благотворительные организации меня устроили в одном из парков косить траву машиной и убирать аллеи и лужайки. С мешком через плечо и палкой с гвоздем на конце я ходил по парку и накалывал на гвоздь кульки, бумажные стаканчики и всякую ерунду. Только одна Милена, не спрашивая, знала, что я переживаю . . .

А в другие дни ездил на машине. Работа была не трудная, — сидишь и едешь, а она стрижет траву и собирает. Управлять ею очень легко. А работать приходилось во всякую погоду. Дождик, ветер . . . Ну и пропустишь иногда стаканчик-другой, чтобы согреться. Да и от обиды тоже. Прежде я и в рот не брал. Экономил. А теперь едешь или идешь с сумой, как нищий и ду-

маешь: «Вот и конец тебе, Душан (это мое имя), так на этой травке и сдохнешь». Правда, после завода с копотью, грязью, грохотом и вечным электрическим светом я попал в царство солнца, воздуха и зелени. Птицы, белки, голуби, вода — вот, что меня окружало. По аллеям ходят взрослые и дети, кормя зверей и птиц... А я еду себе и думаю: Господи, хоть бы детей людьми сделать, а там, что будет — то и будет... Великан с мускулами борца, бывший четник, соратник Драже Михайловича стрижет траву и собирает бумажки. Неужели, так и кончится моя жизнь? А может сын станет инженером, а дочь врачом, а мы с Миленой счастливые и спокойные, будем нянчить их детей? Почему этого не может быть? Это же Америка. Страна, в которой и чистильщик сапог может быть президентом. Милена внушала мне эти мысли. Ведь только она и была рядом со мной. Дети были только в квартире... «Герл-френд», «бой-френд» — эти слова слышались у нас по-телефону ежедневно. Нам-то он не нужен был. Кому звонить?..

Богу мы молились, как могли. Церковной службы не пропускали ни одной, но уже ездили автобусом, одни. Дети не хотели. Да, как видно не услышал Бог наших молитв. Надломилось что-то во мне. Треснула какая-то пружина. Иду на работу, иду с работы, как автомат. С детьми не спорю, с женой молчалив. Будь, что будет. Я теперь зарабатывал половину того, что на заводе, но твердо решил: пока дети с нами, жена не пойдет на работу. А потом и тем более. Иначе они совсем от дома отобьются. Мать встретит, мать проводит. Да, что говорить — женская рука и материнское сердце в доме — великое дело. Мать всегда должна быть на месте. Деньги — дело второе. Но дети этого не понимали: им давай и давай все. А всего-то и нет. Конечно, недовольство,

ссоры, обиды. А я молчу. Я знаю, что если сорвусь, могу убить человека — еще по Сербии знаю. Знает это и Милена и боится моего молчания. А дети уже чувствуют, что отец не тот. И я вижу, что ничего сделать с детьми не могу. Они идут своей дорогой, по которой идут тысячи им подобных. Язык английский для них уже родной и разговаривают они между собой только на нем. Обедаем мы в разное время: им всегда некогда, куда-то спешат, кого-то ждут, с кем-то условились. Пришел, открыл холодильник, пожевал что-то и смотришь — уж нету. То сына, то дочери. Редко, редко мы ели вместе, а если и сидели вместе за столом, то той сердечности, той откровенности, которая была когда-то между нами, уже не было. А знаете, что такое семья в Сербии? Это одно неделимое целое, да! Да и видно было, что им тягостно сидеть с нами и молчать, а говорить уже не о чем. А в своей комнате говорят, не переставая. Дочь уже неоднократно говорила матери, что ей нужна отдельная комната. Да, она права, конечно. Девочке было шестнадцать лет. Уехать бы в провинцию, да я там работы не найду, а ребята, повидимому, уже привязались к Нью-Йорку. Где выход? А раз . . .

Мой собеседник, сильно нервничая, опять пошел к стойке и, выпив, даже не выпив, а проглотив там одним залпом стакан вина, вернулся обратно. Он, как я видел был уже сильно под градусом.

— А раз сын не пришел домой ночевать. Мы не легли спать, мы прислушивались: вот идет по лестнице . . . Нет мимо. Мы к Раде, может быть она что-нибудь знает: где он, с кем он? Но и та ничего ответить не может. Милена боится сказать, а знаю, что думает: наверное женщина у него, у нее и остался! Красивый он, рослый, румянец, кудри вьются, атлет. Многие на него заглядывались. Вот и соблазнила, какая-нибудь, польстившись

на свежесть, на юность. А может быть несчастный случай? Но нам бы дали знать, да и по радио говорят, а дочь не отходила от приемника. Нет, ничего. Утром, перед тем, как идти на работу, я стоял в нашей спальне и молился перед иконой, крестясь своей культяшкой. Рада сказала, что только что звонили по-телефону и сказали, чтобы я никуда не уходил, так как к нам кто-то едет.

— Господи, что еще?!

Через пять минут вошли двое, оба из полиции. И вот через чужого человека, мы узнали, что вчера вечером был налет на винный магазин, который был закрыт. Двое взломали дверь, третий сидел в машине, за углом улицы. Человек говорил, Рада переводила, а Милена, бледная как стена, опускалась на колени.

— Мальчик мой, за что? — шептала она.

Но магазин был снабжен сигнализацией, и не успели налетчики заняться кассой, как были окружены и взяты. А в машине сидел наш сын Любомир . . . Вы хотите знать, что было с матерью? Она не плакала, а только ходила по квартире и что-то себе говорила. Это самый страшный вид молчаливого горя. Она поседела за этот день.

Ребята на допросе сказали, что им нужны были деньги. Любомира выпустили под залог, а мы внесли все свои сбережения и еще нам заняли добрые люди. Нас предупредили, что если он сбежит — залог пропал . . . Был суд. Как видно, Господь услышал на этот раз наши молитвы: на суде было доказано, что хотя он и участник ограбления, но не знал на что его повели. Так или иначе сына оправдали, а о настоящей правде мы не допытывались. Страшно было. Сын никогда с нами об этом не говорил, да и мы никогда не поднимали этого вопроса — слава Богу, что так обошлось.

Вот и стал я иногда попивать. В чем дело? Работаю, работаю и не могу стакана вина выпить? Не правда ли? И ни разу не упрекнула меня Милена за это — только отворачивалась от пьяного духа, да металась, как подстреленная птица, между двумя выросшими птенцами, которые, мучили ее своею дерзостью и требованиями. Но, как видно, правду говорят: «Пришла беда — отворяй ворота». Не прошло и полгода, как судьба опять ушибла нас, но как . . .

Это был июль месяц прошлого года. Я по-прежнему работал в парке, жена занималась хозяйством, а дети своими делами, о которых родителям не знать, а только молиться, чтобы все было хорошо. Сын уже был студентом, а дочь кончала школу. На лето он устраивался на работу и, сказать правду, учиться не хотел, а мечтал работать и уйти от нас. Дочь тоже не раз высказывала то же желание. Мать плакала и умоляла их не уходить. Так проходила наша жизнь. Как сейчас помню: был чудесный летний день. Было тепло, солнечно и даже мне было радостно глядеть на мир Божий. Ничего, — говорил я себе, — не падай духом Душан, ты стал последним человеком, но дети твои будут настоящими людьми. Я со своей косилкой стоял на пригорке и поворачивал влево. Когда я дал газ, тормоз отказал, и я, сидя в железном седле, покатил вниз и уже остановиться не мог, а видел, что съезжаю на дорогу, по которой через парк ездят на автомобилях. И в тот момент, когда я ехал, из-за поворота показался автомобиль, полный кричавшей и певшей молодежи. Я свернуть не мог, так как катился с наклона вниз, а они . . . Они, не знаю. Может и могли, но в канаву. Однако, их машина смаху ударила мою косилку, и меня выбросило на дорогу. Я только запомнил глаза полные ужаса и крики детей . . .

Машина умчалась, а я очнулся в госпитале и там признали, попросту говоря, что у меня отбиты внутренности и легкое сотрясение мозга. Полиция допрашивала меня о том, что я помню. Я говорил, что машина была зеленая и «Форд», а свидетели, что — синяя и «Шевроле». Мог бы ли я узнать кого-либо из ехавших в машине? Нет, — отвечал я, — не мог бы. Знаете, после такого удара можно ошибиться и подвести человека... Так все и осталось. В госпиталь ко мне приходил какой-то школьник, оставлял мне деньги и говорил, что все будет «окей». Он объяснял, что видел этот случай и жалеет, что не может мне больше ничем помочь...

И вдруг Душан заплакал. Плач этот был плачем трезвого, глубоко оскорбленного, человека, плачем отчаяния и безнадежности. Я молчал, даже не стараясь его успокоить. Вытерев глаза грязным огрызком своей руки, он продолжал:

— Извините меня за эти слезы. Знаете, до сих пор не заживает эта рана, — и он ткнул себя в грудь. — Я потерял и эту работу и стал таким инвалидом, что мне определили пенсию, которая для двух слишком мала, а для одного, чтобы жить достаточна.

— Как же вы пьете, если у вас семья?

— Семья? — пьяный криво усмехнулся. — Была, да вся сплыла. После моего выздоровления и окончательного определения моей инвалидности, я совсем сдал. Работы не искал, так как не мог поднять даже чемодана — из-за болей. А вот пить могу. Я начал, а потом и остановиться трудно. Меня в этом районе все таверны знают.

— А где же жена и дети?

— Я ушел от них. Исчез, как утонул. Дать, ничего не могу, а объедать... Сын увидел, что дело плохо, бро-

сил учиться и устроился на работу, и мать живет с ним в том же городе.

— А дочь ваша?

В это время «бартендер» подошел к нам и сказал, что таверна закрывается и пора по домам. Мы вышли. Моросил дождь, было мокро и неприятно. Мой собеседник поднял воротник своего убогого пиджака. Стоя у фонаря, он сказал:

— Дочь? Я бы не рассказал вам этой истории, если бы не ваш сербский язык. Знаете что, земляк? Все может быть в жизни человека, все . . . Но самое страшное, что их автомобиль не остановился и мне не помогли, те кто меня сбил. Понимаете — должны были . . . Но, как видно — не судьба.

Я смотрел на лицо Душана, как по нему текли слезы . . . А может быть это были капли дождя — не знаю.

Втянув голову в плечи, он ушел, пошатываясь, и растворился в мокром тумане. Больше я его не встречал никогда . . .



Неудачники

Мой приятель Григорий Ардов, восторженная душа и «энтуазист», как его называли в Одессе, остался таким же и в Америке. За неделю до моего отпуска он ворвался ко мне в дом. Размахивая какими-то брошюрами и бумажками, зашипел на всю квартиру:

— Небывалый случай... Вы смотрели этими днями по нескольким станциям новости об Аляске?

— Что, опять землетрясение?

— Нет, конечно, но так называемая «золотая жизнь» там еще есть и идет полным ходом; старожилы, даже вышедшие на пенсию, потихоньку добывают золото. Экран показывает старичков, с трубками в зубах, сидящих у ручья или выходящих из шахт и потом промывающих добытую породу. А затем зрителю показали крупным планом их «добычу» по фунту-два золота. Я вижу по вашему лицу, что вы не верите. Поверите, когда убедитесь лично. У нас с вами на носу отпуск? Вместо того, чтобы ехать во всякие Флориды с их крокодилами, Калифорнии с их «смогами», давайте мотнемся на Аляску и попытаем счастья. Будут некоторые расходы, но всегда, когда рубят лес, щепки летят. Я уверен, что все окупится с лихвой... Аляска... Клондайк...

Юкон ... Джек Лондон. Я сейчас заново его перечитал. Все прочел: и «Мартина Идена», и «Зов предков» (это про нас с вами), и «Белый клык» ... Ну, одним словом, Эльдорадо-Колорадо, и мы можем ехать ... Я все обдумал. Часть приискового оборудования мы возьмем с собой, часть купим на месте. Местные аборигенты помогут нам и словом и делом. Дальше: так как часть пути нам надо будет ехать на собаках ...

— Да что вы?! — завопил я. — Я на верблюде не усижу, а тут на собаке ...

— Да не верхом же! В санях, упряжка впереди, а я сзади на запятках. Затем: маршрут незабываемый по красоте. В поезде, в Канаду, вглубь страны до порта Принц Руперт, там пересаживаемся на океанское судно, размером с «Титаник», и на нем вдоль берегов Аляски до Скагвэя. Там сгружаемся, и дальше на оленях или собаках до Нома или Игла, который стоит спокон века на Юконе. В том же районе узкоколейка, а она поможет нам доставить багаж на место. Нет — наймем индейцев. Я уверен, что, сгрузившись и поставив заявочные столбы, мы захватим лучшие участки.

— Столбы везем с собой?

— Святая простота! — улыбнулся Ардов. — Там столбов, хоть пруд пруди. Неужели вас не соблазняет привезти домой два-три чемодана чистого золота? Вы же знаете, что из Америки происходит утечка золота, и правительство обеспокоено этим, а мы, наоборот, привезем его и отдадим по тридцать пять долларов за унцию. Это даже патриотично, если вы хотите знать.

— Согласен, но это не дешево?

— Это государственная расценка, не будьте де-Голлем, и не нам сбивать цены. В результате может очиститься по несколько тысяч чистоганом, на каждого из нас. Чувствуете?

Доводы, а еще если они убедительны и подкреплены фактами знающего человека, действуют на меня, и я сдался под его напором. Когда я сказал жене об этих богатых возможностях, она ответила:

— Моя покойница мама не ошиблась, когда назвала тебя . . .

— Я прошу не переходить на личности.

Это ускорило ход событий, и мы с Ардовым рьяно взялись за подготовку к поездке. Решив еще раз освежить в памяти времена золотоискателей, я посмотрел два раза фильм Чаплина «Золотая лихорадка», прочел роман Бебутовой «Черное золото» и изучил на карте бухты «Золотой рог» в Константинополе и во Владивостоке. Картина стала вполне ясной.

— Чтобы шагать в ногу с эпохой, нам надо приобрести прибор Гайгера. С его помощью мы обнаружим любые благородные металлы, — сказал Ардов.

В магазине, чтобы мы убедились в исправности аппарата, нам его продемонстрировали, и он, действительно, трещал как кузнечик. Странно было, что, когда я приблизился с ним к Грише, он тоже затрещал.

— Почему это? — спросил я продавца.

И тогда я узнал, что продавцом надо родиться. Он сказал:

— Сэр, не забывайте, что на свете, кроме благородных металлов, есть и благородные люди.

Мой приятель с видом победителя взял покупку, но оставил сдачу.

Чтобы не возиться с мелочами на месте и не переплачивать втридорога, мы закупили здесь кирки, лопаты, лыжи, лотки для промывки песка, вещевые мешки и теплую одежду. Продукты (солонину, сухую рыбу и консервы) решили закупить на месте. Когда все

это погрузилось в такси для отправки на вокзал — все соседи смеялись, а жена плакала. Как глупо!

В Британской Колумбии, в Ванкувере, мы пересели в экспресс, который должен был нас домчать к таинственному порту Принца Руперта. Мы могли бы ехать туда и водным путем, но, во-первых, это медленнее, а время деньги; а во-вторых, надо, как сказал Ардов, меньше обращать на себя внимание.

— Не забудьте, — втолковывал он, — что таких как мы немало, и человек, по виду добродушный и рубаха-парень, может оказаться предателем и в последний момент перехватить собачью упряжку или же сделать заявку на золотоносный участок перед самым нашим носом . . .

Дальновидный человек — мой приятель. Молодчага . . . Честно признаюсь, что до сих пор, пользуясь услугами «Серой собаки», я, в автобусе, поджимал ноги, застывал в позе, приданной моему телу креслом, и когда надо было выходить, то это удавалось с трудом — окостеневал.

Ардов сказал, что мы едем за золотом, и что денег жалеть не приходится. Мы заказали спальные места в поезде. Приехав в Ванкувер, мы сразу же пересели в экспресс. И тут началась сказка . . . Каждому из нас было предоставлено отдельное купе. Вначале, кроме синего, бархатного дивана, я ничего не заметил. Спать на нем? Сомневаюсь. Но, когда я начал нажимать всяческие рычажки и кнопки, в изобилии разбросанные по стенам, я пришел в восторг. Одна стена отделилась и, беззвучно опустившись, образовала кровать, мягкую, удобную. Под потолком тихонько запело радио, и трогательно завертелся резиновый вентилятор.

У изголовья зажглась синяя лампочка, а в стенах начали открываться шкафчики различного назначе-

ния. Один из них оказался только для питьевой воды, со стаканчиками сбоку. Пятый превратился в умывальник с горячей и холодной водой. А мягкое кресло, на которое я не обратил внимания вначале, оказалось пределом мечтаний. Таким образом, в этом маленьком особняке на одну персону, я могу, не выходя, чувствовать себя царем природы . . .

Согласитесь, что это идеально! Путешествие началось. Еще один необычайный сюрприз: когда мы явились в вагон-расторан, чтобы поужинать, метрдотель, попросив наши билеты, уведомил:

— Сэры, на все время путешествия, обитатели спальных вагонов пользуются рестораном бесплатно.

Я обалдел, а Ардов торжествовал. В кои-то веки! Вот тебе и Канада! Когда, утром, на другой день, я съел свой завтрак и попросил еще, то тот же «метр» учтиво сказал:

— Бесплатно вы можете съесть завтрак только вашего друга.

Теперь о Канаде глазами опытного путешественника, из окна вагона. Через 2-3 часа после того, как мы покинули Ванкувер, все было прекрасно, и мы проехали необычайной красоты русло реки Фразер, которая порой была спокойной, как Днепр, а порой вела себя, как Терек, стиснутая скалами типа «Пронеси Господи» . . . И вот река куда-то исчезла, и железную дорогу обступили с двух сторон огромные скалы без всякой растительности; изредка на них виднелось по одинокому деревцу о котором в свое время было написано: «На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна». Так и тут. Правда, рядом тянулись провода, и бежала шоссейная дорога, но все же пейзаж был удивительно убог.

Эта часть пути очень напоминает штат Неваду, но там безрадостность скрашивается возможностью в полчаса проиграться в Лас-Вегасе и за пятнадцать минут развестись в Рино. Такого удовольствия в Канаде туристам не дано. Тут даже кино по воскресеньям закрыты.

Новый национальный флаг (красное поле с белой полосой посередине, на которой распластан кленовый лист, развевается над многими зданиями страны... Страна эта огромная. Теперь уже поезд мчится среди полей, лесов, долин, лугов, озер и пастбищ.

Своей растительностью и внешним видом Канада в этой части напоминает покинутую нами родину, с той только разницей, что в вагонах первого класса едут обыкновенные трудящиеся, хорошо одетые и сытые. На вокзалах нет ни очередей, ни давки. Вы видите иногда из окна добротную хижину дровосека, построенную в начале века, но уже оставленную и заброшенную — дровосек предпочел «трэйлер» (домик на колесах) — или же видите бульдозер последней конструкции, около которого весело едят свой обед дорожные рабочие. На полях собирают обильную жатву пшеницы для стран, ее не имеющих.

Виды рек, озер, прудов, заросших камышом, осокой и лилиями, напоминают нам имена Левитана, Маковского и Поленова, увековечивших русскую природу. Кроме того, спешу заметить, что все виденное очень успокаивающе действует на нервную систему...

Чем дальше на север, тем природа суровее: появляются скалы, обрывы, горные реки, висячие мосты, тунели, водопады и горы, горы... Мой приятель все свое время ухлопывал на знакомство со специальной литературой, чтобы приехать на место во всеоружии опыта, почерпнутого из книг. Я это игнорировал. В вагоне по-

знакомились с мамашей из Квебека и ее сынишкой десяти лет, который ни слова по-английски не знал и только рисовался своим французским языком. Мать сказала, что ему нужен только этот язык, что Квебек отделится от Канады и станет членом Объединенных Наций, а деньги они возьмую у Америки; она для этого и существует.

Первая заслуживающая внимания остановка была в Жаспере. Большой достопримечательностью города, расположенного в долине и окруженного суровыми и дикими горами, является подвесная дорога, поднимающая туристов на высоту 10 тысяч футов. Мы поехали. Хлипкий вагончик, с двадцатью пассажирами, беспомощно болтался на проволоке.

Доверия к этому сооружению у меня не было никакого, но все едут, поехал и я. Когда мы вышли на вершину горы, и туристы рассыпались в разные стороны, а Ардов бегал с «Гайгером» между камнями, я обомлел. Массивы огромных гор, покрытых снегом, создавали величественное зрелище. Вокруг стояла благоговейная, как в храме, тишина.

Тот, кто видел швейцарские Альпы в Женеве или горы вокруг Зальцбурга в Австрии, тот может себе представить эту красоту. Когда без всякого предупреждения, началась гроза, мы сразу же почувствовали свое ничтожество и поспешили вниз. Дорога, по которой несет нас экспресс, изумительна, особенно от Жаспера до порта Руперта. Здесь отвесные скалы подступили к самой железной дороге, а с другой стороны «тихо и плавно несла свои воды» огромная река. За нею, по ту сторону, громоздились горы, покрытые то густым лесом, то снегом.

Трудно было оторвать взгляд от этой незабываемой картины, которая часами проносилась перед нами. Не

думаю, что такие виды могут надоесть человеку прокоптившему себя никотином и отработанными газами автомобилей. Я лично не отрывался от окна даже тогда, когда спал. Ардов же шелестел бумагой и графил книги для будущих записей прихода (в унциях) и расхода (в долларах). Бог ему судья...

Эта великолепная часть пути промчалась, как в калейдоскопе и без особых приключений мы прибыли в Порт Руперт — последний оплот Канады перед «запуском» нас в орбиту Аляски. Здесь на ночь мы остановились в отеле, постройкой своей напоминавшем времена «золотой лихорадки». Когда такси приезжало за очередным жильцом, хозяйка, стоя за огромным бюро, кричала:

— Мистер Джонс из тринадцатого! Ехать!

И голос с третьего этажа отвечал:

— Еду.

На улицах нам встречались типы, которые внешностью очень гармонировали с нашим отелем: небритые, унылые и потерявшие надежду на лучшие времена. Ардов загорался:

— Это, безусловно, класс бывших золотоискателей. Надо завести с ними знакомство и исподволь выпытать все, что они знали о своем ремесле.

Начинать ему пришлось очень издалека, и лишь после десятой бутылки пива выяснилось, наконец, что «старатель» золота и не нюхал и всю жизнь проработал на лесопилке. Когда же я услышал дуэт «О, Сюзанна!» я понял, что уже пора вытаскивать Ардова на поверхность и укладывать в постель... Концерт был окончен. Заснули мы под звон посуды и грохот стульев в таверне, в первом этаже нашего отеля.

А утром такси (мы предполагали нанять индейцев для переноса нас и груза на корабль) за десять минут

домчал нас на пристань, где высилась громада нашего корабля, со странным названием «Маласпина». Уютная двухместная каюта приняла нас в свои гостеприимные стены. Все ново, все блестит, все сияет или надраено, как говорят моряки. Каюта, как и купе поезда, тоже со всеми удобствами.

Огромная труба парохода выкрашена в синий цвет и украшена звездами под «Большую Медведицу». Это изображало собой штатный флаг Аляски. Нам рассказали, что когда этот сорок девятый штат задумался над новым для себя флагом и уже объявил конкурс рисунков, то из сотен присланных проектов лучшим был признан проект школьника, ученика четвертого класса, предложившего для флага Аляски синий фон с серебряными звездами, расположенными, как созвездие Большой Медведицы.

Перед посадкой на судно, американские власти учинили нам «строгий» допрос: «Кто вы? Чего вы? Куда вы? Зачем вы?» Не успев получит ответ, чиновник взял под козырек и отпустил наши души на покаяние. На обратном пути такую же процедуру должны буду произвести над нами канадские власти. Одним словом — все по-семейному . . . Свирепо загудев, наш корабль отдал концы (кому, какие и зачем, я не видел) и, красиво развернувшись, вышел в открытое море, с берегами по обеим сторонам . . .

Было решено не сидеть сложа руки, а присматриваться к пассажирам. Во-первых, нет ли среди них лиц, претендующих на то, ради чего ехали мы; а во-вторых, если есть, то, прикинувшись простачками, выпытать все, что может принести нам пользу. Нам — пионерам в этой области, в эпоху кибернетики и завоевания космоса. Я честно признался Ардову, что я — профан в

области распознавания нужных людей, и на меня возлагать надежд не следует.

Он, сразу же махнул на меня рукой, но, когда я увидел его оживленно разговаривавшим с интересной брюнеткой с блестящей внешностью, я сразу же решил, что не все то золото, что блестит, и ринулся на помощь приятелю, тем более, что у брюнетки оказалась подруга. Мы пригласили их в ресторан, чтобы расположить к себе в интересах дела. Воспитанный в лучших традициях, я ел только с ножа, мизинец оттопыривал до отказа и пользовался зубочисткой после каждого съеденного куска, а не после еды, как это делают люди, лишенные чувства меры. Понимающий бартэндер сразу же поставил перед нами бокалы на тонких ножках. После третьего я встал и, обращаясь ко всем дамам сидевшим за столами, учтиво сказал:

— Я пью за всех дам обоих полушарий!

Это было встречено весьма одобрительно, но прыткий Ардов и тут мены переплюнул. Вскочил и крикнул:

— А я — за оба полушария всех дам.

Лучезарные улыбки и теплые взгляды были наградой галантному кавалеру. Наши спутницы прониклись к нам уважением и предложили перейти в бар для создания более интимной обстановки. Обмен мнений сразу же показал, что дамы всегда интересовались золотом, как в сыром, так и в плавленном виде, но в этом наши интересы оказались прямо противоположными, ибо мы жили будущим, а они только настоящим. Вращаясь на высоких стульях у бара, как птички на жердочках, они щебетали, перебивая одна другую.

— Мальчики, мы сразу раскусили вас, и ради мифической надежды найти золото, мы не намерены забираться с вами в лес, рискуя простудой. Мы добываем его в городах Америки и Аляски, считая, что доллары

эквивалентны золоту, и брезговать ими не приходится.

— Иногда, — смеясь сказала брюнетка, — мы нападаем на такую «золотую жилу», что обрабатываем ее без выходных дней, и когда выясняется, что уже нет ни крупинки, мы оставляем «жиле» два-три доллара на карманные расходы.

— А мы бы не смогли так? — наивно спросил Ардов.

— Нет, — отрезала другая. — У вас нет данных.

Идея Ардова привлечь их в долю на равных основаниях провалилась, так как никаких паев внести они не могли. И мы разошлись, как в море корабли . . .

На следующее утро милые путешественницы сошли на берег в г. Врангель в сопровождении двух «жил» с портфелями и в очках. Возможно, конечно, что «жилы» сами открыли золотоискательниц и захватили их с собой. Чужая душа — потемки. Махнув нам крылышками, они исчезли из нашей жизни. Навсегда.

Хотя я и назвал наш корабль «Титаником» вначале, но он не был им. Но и «Пигмеиком» его тоже назвать нельзя: несколько открытых палуб, несколько огромных гостиных с мягкими креслами, прекрасный ресторан с баром и «забегаловка» с божескими ценами. В ресторане, повидимому, орудовали безбожники. Автоматы продавали прохладительные напитки, сладости и меняли деньги. Всего этого было вполне достаточно, чтобы обслужить сотни три пассажиров, кроме которых во чреве чудовища стояла хорошая сотня автомашин, хозяева коих «прожигали жизнь» на палубах и в гостиных.

Этикета на пароходе нет, и напрасно мы в первый раз к ужину вышли подтянутыми и элегантными: Ардов надел смокинг и под него майку, а я — лаковые туфли и джинсы. Публика была одета значительно проще: мужчины в распашонках, а дамы в вечерних

платьях, заправленных в узкие синие штаны, с карманами на выпуклостях. Это сразу же создало атмосферу непринужденности.

Мест на «Маласпине» было для всех достаточно, а свежего морского воздуха хватало с избытком не только для путешественников, но и для побережья Аляски. Я чувствовал, как с каждой пройденной милей у меня прочищались легкие, и прояснялось зрение. Дышалось легко и привольно.

Все время по-радио передавалась легкая музыка: Штраус, Легар и все, что способствует легкомыслию. Молодежи очень мало, а больше пожилой публики, и мы с Гришей казались буквально юнцами и были нарасхват . . .

Отдавая дань времени, администрация поставила в «забегаловке» музыкальный ящик, откуда за 10 центов любитель может извлечь звуки «хутенани», джаза и лиц, претендующих на звание певцов. Большим упущением является отсутствие в ящике пластинок Битлс. Когда филантроп Ардов хотел заявить об этом, я резонно сказал:

— Потом, когда будем сходить, с чемоданами.

Подплывая к Петербургу (есть такой город в США), я рано утром вышел на палубу и, увидев восходящее солнце и пласты тумана, лежавшего на вершинах огромных елей, запел: «Эх, туманы мои, растуманы» (музыка Пятницкого, исполнение мое). Осторожные американцы держались поодаль. Гриша же, чувствуя себя природным моряком, так как родился на берегу Черного моря и большую часть жизни провел на Ланжероне и Лузановке в обществе Кости-моряка и Мишки Япончика, зашел как-то в рубку капитана и дал ему несколько практических указаний. Тот молча его выслушал и ответил:

— Есть, сэр.

В обед корабельный врач подсел к нашему столику и долго беседовал с Ардовым на общие темы. Они расстались довольные друг другом. Медленно, но верно мы завоевали расположение пассажиров, а когда один дошлый журналист взял у нас интервью и щелкал фотокамерой, мы очутились в самом центре внимания всего парохода.

Я начинал верить в счастливую звезду моего приятеля. Чем чёрт не шутит, а вдруг . . .

Наш корабль плыл вдоль живописнейших берегов Аляски. Они, то отступают от нас на мили, то приближаются настолько близко, что можно пересчитать деревья, а их миллионы. Но, несмотря на наличие свободного времени, никто этим не занимался. Где бы мы ни проезжали, людей мы не видим, но несомненно одно, что позади этого зеленого массива проложены шоссейные и железные дороги, по которым предприимчивые американцы мчат товары, строительные материалы и продовольствие.

Кажущееся однообразие ничуть не надоедает. Пароход часто меняет направление и тот же остров или берег мы уже видим в ином ракурсе. Мне могут возразить, что жизнь в городе значительно разнообразнее: сегодня у вас грипп, завтра получили билет от полицейского, послезавтра поругались с боссом, а в субботу попали в госпиталь по чужой вине. Дело вкуса, но я предпочитаю пейзажи.

У нас на корабле любители природы сидят в гостиных и режутся в карты, другие дремлют в креслах, ожидая того времени, когда можно будет пойти спать по-настоящему, иные читают, пыхтят сигаретами, или же пишут открытки. Воздух здесь поистине целительный, и если сидеть на палубе с подветренной стороны,

то вы ощущаете свежесть снега, лежащего на ближайшей сопке. А если сесть с подкухонной, то воздух насыщен запахом лука и жареной рыбы.

Есть люди, которые сидят у входа в ресторан, чтобы первыми захватить столы и насладиться путешествием на все «сто». Будет что рассказывать по приезде. Такие люди возмущают меня до глубины души. Стоишь иногда и думаешь: «Ну, чего вы торопитесь? На всех же хватит. Так нет! Двери еще закрыты, а уже толпятся. Чёрт знает, что!»

А одна старуха была такая настырная, что мне казалось: не успеет выйти из ресторана после обеда, как уже становится у дверей в ожидании ужина. Мы друг друга хорошо присмотрели. Зловредная баба.

Солнце греет вовсю, и уже через 2-3 дня вы приобретаете вид молодого морского волка, с загорелой, обветренной кожей, крепкими руками и такими же выражениями. Много ли человеку надо? Бодрящий ветерок распирает ваши легкие, и вы лишний раз убеждаетесь, что реклама не врала, когда писала, что аляскинский воздух состоит из чистого озона.

По пути в Джуно в нашем «турбо-дегенераторе» что-то испортилось, и в результате руль вышел из повиновения, капитан из себя, и мы все вышли на палубу, надевая какие-то пояса. Капитан велел гудками подавать сигналы бедствия. Двое рыбаков, удивших рыбу, сидя в маленькой лодочке, подъехали к нам и попросили не пугать рыбу. Когда же им объяснили ситуацию, они предложили взять нас на буксир и отвести в ближайший порт. Рассвирепевший капитан в соленых выражениях прокричал им, что он о них думает.

— Я скорее умру вместе с содержимым (хм?) парохода, но не соглашусь на такой позор!

Началось волнение. Ардов вскочил на спардек (я не уверен, что это так называется) и, призывая к порядку, крикнул:

— Без всякой паники хватайте спасательные шлюпки и спасайся, кто может!

Пока разворачивались эти события, «дегенератор» пришел в себя, а рыбаки, погрозив кулаком, повернулись к нам спиной. Мы сделали то же самое. По-видимому, это морская традиция. Гриша стал героем дня, а я опять остался в тени.

Живописнейшие виды, один лучше другого, сопровождали нас, как хорошие друзья. Хотя должен сказать честно: для тех, кто любит пальмы, пляж и «хула-хула», эта поездка не придется по вкусу. Тут все, как от сотворения мира. Еще одна климатическая странность: если стоять на носу корабля, то вам кажется, что Арктика недалеко, а если на корме, в рубашке с короткими рукавами, то вы уверены, что наш корабль пересекает экватор на параллели Рио де Жанейро.

Корма — любимое место публики, где вы отдыхаете, как бы на южном солнце. За нею пенится светло-зеленая вода, своим шумом и видом напоминая маленькую Ниагару или Викторию на реке Замбези. Преимущество наше в том, что «водопад» неотступно следовал за нами, находясь в горизонтальном положении. Эта кипящая масса воды, в белых замысловатых кружевах неповторимого рисунка, удивительно умиротворяюще действовала на всех . . .

Появление среди публики Ардова в меховых мокасинах, шубе мехом наружу, с таким же капюшоном, произвело фурор. Когда же он исполнил «На земле весь — род людской . . .» овациям не было конца. Не объясняя ничего, он гордо удалился. Интерес к нему возрас-

тал в такой прогрессии, что капитан приставил к нему специального матроса.

Успокаивающий шум машины корабля, свежие запахи моря, опьяняющий воздух и полная оторванность от земли и ее забот привели к тому, что я спал, как ребенок: не храпел, а тихонько во сне шевелил пухлыми губками. Я не могу сказать того же об Ардове. Он стонал, вертелся над моей головой (верхняя койка) и бредил. То я слышал: «Киса, верьте мне, у меня не было родителей; я самородок. Отсюда мое влечение к золоту!»; а то так: «Костич, санаваган, вы плохо промываете породу!»; бывало и такое: «Несите золотой песок в салун, там весы правильнее!»

Вечерами над дальними горами, близкими лесами и окружающим нас морем восходила луна. Все приобретало какой-то волшебный оттенок. Все казалось нереальным, как в сказке, а пейзажи приобретали вид декораций, покрываясь в глубине дымкой тумана. Пассажиры настраивались лирически, смягчались душой и начинали мечтать . . . Гриша оставался верен себе.

— Костич, — говорил он, — вы не находите, что луна здесь желтее, чем дома? Она тут, как из червонного золота, но без пробы . . .

Днем детишки, эти вечные спутники нашей жизни, веселой стайкой носятся по пароходу, внося повсюду радость и веселую сумятицу. То они стремительно скользя по перилам, сталкиваются с человеком несущим два стаканчика кофе, то, взобравшись на верхнюю палубу, пытаются скопом плюнуть в море, минуя среднюю, которая выступает вперед. Это удается редким счастливчикам, и поэтому пассажиры пялят глаза вверх, удивляясь неожиданному дождику. Когда атмосферное явление разъясняется, пострадавшие «скреци-

вают шпаги» с родителями, к вящей радости шныряющего здесь же потомства.

Когда мы приехали в Ситку, то Ардов заявил, что ему нужно посетить по важному делу штатный «дом для устарелых», и пояснил:

— Он создан правительством для золотоискателей, ушедших на покой, устаревших, так сказать, в своей системе добывания золота. Они не признают ни машин, ни новой техники. Они, «старатели», все делали всю свою жизнь вручную и так и состарились. Я хочу с ними побеседовать. Мы же тоже кустари-одиночки.

— Окей, — ответил я, — а я поеду в город.

Экскурсионный автобус повез нас с пристани в центр. Ехали по немощеной дороге, среди чащи и бурелома, как в лесу. Экскурсовод рассказывал нам историю города и очень часто вспоминал русских. Ведь по существу вся история Аляски тесно связана со многими русскими именами.

Из окна автобуса мы увидели запущенное русское кладбище с малюсенькой часовенкой, еле стоящей на своих старческих ногах. В центре города большой деревянный собор Архангела Михаила. Группа экскурсантов вошла в собор, как раз после свадьбы, и я познакомился с еп. Амвросием и узнал, что русских в Ситке почти нет, и основными прихожанами являются крещенные алеуты и индейцы.

Собор, по мере сил, стараются сохранить, как памятник. Сокровищем его является икона Казанской Божией Матери — изумительного письма. Перед иконой можно стоять и любоваться ею не только как святыней, но и как величайшим произведением искусства неизвестного иконописца . . .

Уходил я с чувством огорчения и обиды: еще 2-3 десятка лет, и большая вместительная церковь останется

без прихожан и без того духа русскости, который так присущ нашим храмам за границей... Нет притока новых людей, нет средств, которые так нужны для сохранения и благолепия и красоты этого собора. А жаль... Спустя год собор сгорел, но уже строится новый, великолепный.

В старом, жалком и убогом музее, расположенном в одном зале, есть и русский «отдел». В нем два помятых самовара, два портрета без фамилий, две иконы и печка, похожая на жерло пушки, поставленно «на попа». Вот и все, что было собрано и сохранено о былом величии, славе и силе русских при «открытии Америки» с этой стороны. Может быть, в этом есть доля и нашей вины, но где мы только не виноваты?

Когда я встретил Ардова, он был мрачен и неразговорчив. Наконец, я выпытал у него следующее:

— Пионеров золотоискательства в лучшем смысле этого слова уже нет. Почти. Старатели когда-то перестарались, и время взяло свое. Один, с которым я беседовал, имел отношение к этой профессии, но побочное. Он доставлял спиртные напитки золотопромышленникам, как говорится, с доставкой на дом, и этим жил. Он мог бы много рассказать из этой области, но на чёрта это мне нужно? Заведующий ««домом устарелых», узнав о моих планах, грустно покачал головой и дал мне письмо к одному человеку в Скагвэй, который, как он сказал, откроет мне глаза на многое. Моя же профессия, — грустно сказал он, — закрывать глаза.

— Что же делать? — испуганно спросил я. — Опять неудача?..

Я надеялся, что Григорий передумает, и мы превратимся в обычных туристов отдыхающих вовсю.

— Мы будем бороться до последнего доллара, — был ответ.

После обеда наш пароход проплыл недалеко от огромного глетчера. Эта величественная ледяная река, почти незаметно оползающая в море, очень опасна, ибо судно, решившееся полюбоваться этим редким зрелищем вблизи, может быть опрокинуто огромнейшей глыбой снега и льда, срывающейся с отвеса в воду и внезапно всплывающей на поверхность, как айсберг.

А вечером, в гостиной, мы блеснули нашими талантами и пели дуэтом перед очарованной аудиторией «Раскинулось море широко». Все были в восторге. Но когда надо было объяснить, что такое Байкал, почему он «священный», и попутно возник вопрос об «омулевой бочке», то я скис, и мы пошли спать.

На другой день мы прибыли в Скагвэй, конечный пункт нашего путешествия, где роковое письмо должно было решить судьбу нашей авантюры. Да, вчерашний концерт был нашей лебединой песней. Здесь Ардов мечтал пересесть на узкоколейку до г. Игл, там взять упряжку собак, и потом мы уже у цели. Только ставь столбы. Человек, к которому мы пришли с письмом из Ситки, был честный американец. Прочтя его, он помрачнел.

— Молодые люди (хм), вы на опасном пути. Все совсем не так, как вы мечтали. Мне приятно видеть сегодня людей, идейно верящих в силу золота, как такового, и добытого таким путем, как вы хотите, но . . . — тут он вздохнул. — Но тут будут такие «но», что я боюсь за ваши нервы. Прежде всего никаких заявок на участки теперь не делают. Земля или в частных руках, или во владении штата. Так что, куда бы вы ни сунулись со своими злополучными столбами — всюду все занято. Конечно, вы можете здесь, в конторе, купить себе

несколько участков — от одного до сотни, — начать их разрабатыавть любым способом: от ручной лопаты до электрической землечерпалки, которую вам доставят на место, хоть геликоптером. А если там нет ни крупинки золота, тогда что? А это очень возможно. Эти конторы знают, что продают.

Пойдем дальше: самим вам не управиться, и вам нужны рабочие для переноски груза и много другого, даже те же индейцы. Все они — члены профсоюза, и их труд оплачивается по очень высокой ставке. Если им что-либо не понравится, они «станут на страйк» в самый интересный момент работы. Еще: если вы наймете упряжку собак, то надо взять страховку на них и на себя, и на человека, который ими занимается, то есть кормит, поит, моет и выводит гулять. Одним словом, ведет собачью жизнь. Это очень недешево. Теперь: для того, чтобы начать разработку золотой жилы, надо быть в юнионе золотоискателей, а для того чтобы попасть туда, надо иметь за своей спиной опыт этой работы. Вы чувствуете, чем это пахнет? Заколдованный круг. Чтобы выйти из этого круга или, вернее, войти туда, нужно кое-где дать, кое с кем поговорить, кое-куда сходить и понести кое-какие расходы. Если вы хотите посвятить остаток вашей жизни этой профессии, то, куда ни шло, можно рискнуть, но за две-три недели — нет; игра не стоит свеч.

И свечи решили судьбу нашей экспедиции.

Когда мы вышли на улицу, поблагодарив сердобольного человека, Ардов сказал:

— Хорошо, что я скрыл, что с нами едет багаж, и мы уже поистратились.

— Не мы, а вы . . .

— Окей, окей, не будем мелочны, Костич; что вы предлагаете?

— А вот что, — решительно сказал я: — Если выкупить наш багаж, его надо выгрузить, вывезти с пристани, найти человека, который бы согласился купить это барахло, и если он найдется, то опять увидим свои свечи.

— Какие свечи?

— Да вот те, которые не стоят игры. Поэтому плюньте на багаж, и пусть он пропадает. Это выйдет дешевле, а в части ваших убытков я приму посильное участие; чувство благородства мне не чуждо — в пределах десяти долларов.

— С паршивой собаки хоть шерсти клок! — воскликнул Гриша и пожал мне руку. — Быть по сему . . . что касается того костюма, в котором я появился раз на палубе, то я его пожертвую в какой-нибудь музей русской культуры, чтобы еще раз доказать, что «суждены нам благие порывы, но свершить ничего не дано». Едем домой.

Но, прежде чем покинуть Скагвэй, мы, по совету того же человека, прошлись по городку, знавшему самого Джека Лондона. Он (городок) ничуть не изменился за эти семьдесят лет: деревянные тротуары, домики, в которых нельзя жить, и бродячие собаки, жалкой пародии Белого Клыка.

И если прежде искатели, нагруженные до предела инструментами и провиантом, гуськом, в несколько тысяч человек поднимались по Белой Тропе, чтобы пересечь горы, спуститься к Юкону, а там за любую цену попасть на перегруженную лодку и доехать до Даусона, пока река не замерзла, то теперь это делает легко железная дорога, возя туристов в оба конца за несколько долларов.

А прежде такая попытка нередко человеку стоила

жизни. Если он падал — помощи не жди. Впрочем, это сейчас у нас на каждом шагу.

В Скагвэе есть музей, полный вещей «золотой эпохи», включая оружие, рулетку, и прейскурант ресторанных цен того времени. Тут туристы особенно толпятся и вздыхают. Я не знаю, чем живет городок зимой, но летом каждый пятый магазинчик торгует сувенирами, и каждый шестой «салун». Сувенеры сделаны из местного материала: морж из слоновой кости, бумажники из крокодиловой кожи и веера из страусовых перьев. Туристы балдеют. Ардов купил жене сумку кенгуру (для продуктов), внучке туфельки из лососины, а сыну-студенту, который жил в Лос Анжелосе — шляпку-ушанку из драгоценного меха дикой собаки. Мы возвращались домой. После сытного ужина, сидя теплым вечерком на корме, Ардов, как бы невзначай, сказал:

— Ну, как, Костич, большая охота возвращаться в отравленную атмосферу американских городов?

— Да, это вам не аляскинский кислород чистой воды . . .

— Ага! — обрадовался мой друг. — Я рад, что вы разделяете мою точку зрения. Именно этого воздуха не хватает нам, затурканным обитателям Чикаго, Нью-Йорка, Лос Анжелоса и так далее. И вот моя идея, мой дорогой: начать экспорт воздуха с Аляски в . . .

— Экспорт??

— Да-с, экспорт. Разными дозами: в банках, как из-под пива, в коробках, как из-под молока, и в бутылках, как из-под «Пурекса». Так, чтобы в любой лавке человек города мог купить себе два-три галлона с надписью «Золотой воздух Аляски» — Ардов и Компани. Компани будете вы, Костич.

Господи, как этому человеку хотелось прославиться и разбогатеть!

— Друг мой, — печально сказал я, — у нас уже есть внуки, у вас есть постоянная работа и крыша над головой, и не плохая. Куда вы лезете? Ни Форда, ни Сикорского из вас уже не получится...

Он уныло поник головой.

— Вы правы, Костич. Уже поздно начинать большое дело!

Один раз, на обратном пути, Ардов начал что-то писать. На мой вопрос он ответил:

— Я подвожу итоги, пока они меня не подвели Но, когда вспоминаешь, что эта великолепная страна, с ее золотом, лесами, пушниной и рыбными богатствами, была в свое время продана Америке по два цента за акр, то только диву даешься. Каким надо быть бизнессменом, чтобы так облапошить покупателя и подсунуть ему такой товар по такой цене? Да, я бы на их месте...

Густой долгий гудок заглушил его слова.

Прощай, далекая и такая чудесная в своей русской красоте Аляска!



Липочка

«Если не имеешь того,
что любишь —
люби то, что имеешь».
Польская поговорка.

1

Полгода я пробыл в великолепных городах западной Америки: город-сад Сиэттл и город-красавец Сан Франциско. Все же, как это ни странно, соскучился по Нью-Йорку. Правда, что «старый друг — лучше новых двух»? А он меня встретил копотью, «смогом», и холодным ветром . . .

И все же — я дома. Когда я зашел в редакцию нашей русской газеты, то секретарь передал мне пачку писем читателей. Письма бывают разные: в одних хвалят, в других ругают, в третьих просят помощи и совета, в четвертых хотят познакомиться и поговорить. Одно письмо обратило на себя мое внимание. Прекрасным почерком, там было написано:

«Я всегда с удовольствием читаю ваши рассказы. Все они перекликаются с сегодняшним днем, всегда затрагивают наиболее близкие и болезненные темы повседневной жизни нашей эмиграции. В них много горечи, но много правды. Но иногда читаешь и думаешь:

а может быть, это просто развлекательный материал для нас. Ничего он не знает, не видит, а сидит и из пальца высасывает темы для «злободневности». Так вот очень бы хотелось вас увидеть, поговорить, рассказать и показать нашу жизнь. Может и она послужит вам темой для очередного 'боевика', а? Приезжайте, буду рада видеть и пожать руку». Затем следовала неразборчивая подпись и точный адрес. Меня это заинтересовало. Уже по адресу я видел, что местожительство адресата довольно «неблагополучное». Наверное люди нуждаются, хотят помощи или работы, но вот, как они «дошли до жизни такой»? Решил, что поеду.

Уже вечерело и на улицах зажглись фонари. Пока мой такси петлял, добираясь до места назначения, я вспомнил еще одно письмо.

Там дружески рекомендовалось мне бросить «бродяжить», осесть у камелька и держа женскую руку, создать свою семью. Письмо было удивительно теплым и сердечным, но хотя подпись и была, но неразборчивая, а адреса не было совсем. Письмо я сохранил, потому что немного сентиментален. В этих размышлениях мы добрались до искомого дома. Мой возница указал мне его, получил следуемое, плюс на-чай и поскорее уехал. Я понял его торопливость слишком поздно. Улица была глухая, плохо освещенная и грязная; железные бочки были переполнены отбросами и «излишки» валялись просто на тротуаре. Бочки были на цепях, чтобы их не угнали играющие дети. Это я успел заметить, ибо мне пришлось пройти с полквартала. Шофер ошибся. И вот, когда я шел, то видел, что у каждого парадного входа в дом стоял кто-нибудь. Лица были зловещие и очень наблюдательные. Они сразу же узнают «чужака». Кастет, что был в кармане пальто, я сразу же надел на все пальцы, готовясь к худшему.

— Опять влип куда-то, на свою голову!

Если у дверей стояло двое, то разговор моментально замолкал и они только провожали меня глазами. Я даже спиной это чувствовал.

— Уф, желанный номер!

Я толкнул парадную дверь и сразу же самое скверлейшее зловоние ударило мне в нос. Значит, помимо непроветренных коридоров, запахи тут текут из квартир и уборных и все это «амбре» стояло густой, непроницаемой стеной на пролетах лестниц, которые были в подозрительных пятнах и подтеках. Стены у лестниц были на рост человека выкрашены в черную краску, чтобы нельзя было на них писать и пачкать. А высоко на потолке горела лампочка скудного накала, света которой хватало едва-едва на освещение ступенек, грязных и скользких. Хозяин экономил на всем. За перила браться не было никакой охоты.

Итак я на месте и стою в преддверии новых знакомств. Интересно! Я начал подниматься; на каждом пролете, направо и налево тянулись коридоры с дверями выкрашенными тоже в черную краску, так, что все сливалось в один тон. Из-за всех дверей раздавались голоса, крик, писк детворы, лай собак, патефонная музыка, ругань и запахи жарившегося и варившегося ужина. И запахи, и настроение не улучшались. Ну, что ж, взялся за гуж . . . А где же этот, проклятый номер 14? Ничего на дверях не написано и, когда одна из них открылась и оттуда вышла в распахнутом капоте толстенная женщина, я ее спросил. Она ткнула пальцем в глубь коридора.

— Ну, слава Богу, хоть не надо больше подниматься.

Я был уверен, что на шестом этаже уже наверняка воздух, как в канализационной яме. Ну-ну. Я постучал. Еще . . . За дверью густо и зло залаял пес. Щелкнул за-

мок и из-за неснятой цепочки выглянуло чье-то лицо с папироской и оскаленная пасть бульдога.

«Ну, милый мой, против такого никакой кастет не поможет», — подумал я.

— Вам кого?

— Я получил ваше письмо, — я протянул его в щель, — и приехал, как вы просили.

— О, да-да, помню, — и обращаясь к собаке женщина сказала: — Озирис, я вас попрошу, успокойтесь и идите на свое место, — и открыла мне дверь.

Я вошел. Собака, как ни в чем не бывало, легла под стол. У нее было странное выражение: один глаз закрыт, а другой смотрит на меня. Я никогда у собак такого не видел... Я вошел в грязную кухню. Хозяйка молча дымила, давая мне возможность освоиться с обстановкой. В углу стояла ванна, накрытая досками, а на них всякая посуда.

«Ага, — подумал я, — значит здесь и купались. Неплохо».

— Снимайте пальто, у нас жарко.

Это правда, но куда же его повесить? О Боже, по стенам не спеша передвигались тараканы, шевеля усиками.

Дама взяла пальто и бросила его в соседней комнате, по-видимому гостиной, на диван.

Пока она туда ходила, я успел рассмотреть и ее. Высокая, костлявая, с длинными жилистыми руками, она отдаленно напоминала мне Дон-Кихота, а еще пучек выцветших, а может быть и крашенных волос, был как шлем на голове незадачливого рыцаря «без страха и упрека», Щеки ее были в глубоких морщинах, а красные жилки на носу давали некоторое указание на любовь к выпивке. Вот, только глаза ее, несмотря на меш-

ки, выглядели молодо и пытливо. Видно, что тяжелая жизнь наложила отпечаток на весь ее облик.

— Ну-с, садитесь, будьте гостем. Чаю, кофе, пива?

— О, кофе, если можно, — садясь на засаленный стул, сказал я, пряча ноги подальше от Озириса.

Хозяйка возилась у газовой плиты, а я оглядывал обстановку: все-таки кухня могла бы выглядеть чище; а в гостиной были видны всякие шкафы, комоды и этажерки, и обилие фотографий. Пока закипала вода, она вернулась к столу с пивной банкой в руке и свежей сигаретой.

— Так вот вы какой? А я думала, что вы другой.

— Да, это всегда так бывает. Я думал, что вы тоже иная.

— О, да?! — удивилась она. — Какая же, вы думали?

— Ну, маленькая, кругленькая, подвижная, акку . . . э . . .

— Аккуратная, хотели вы сказать? Все было, да сплыло. Хотите пивца? Дурное пиво в Америке — водица.

Беседа наша явно не ладилась. То ли хозяйка ждала моих откровений, то ли сама не хотела ничего спрашивать и говорить. Я же думал о том, чтобы уйти. Уж очень все было примитивно и неинтересно. Но помня, что иногда из самого неприглядного получается что-либо интересное (рассказ «Синий шевроле») я все же решил быть терпеливым и выжидать. Авось получится. Выпив вторую банку пива и налив мне кофе (чашка оказалась чистой) она представилась:

— Зовут меня Аполлинария Никандровна. Человек я более чем грамотный, и когда становится тоскливо, то читаю Флобера и Золя в подлиннике.

— Разве вам французский язык роднее?

— Нет, конечно, но французов надо читать на их языке. Куда интереснее и ярче, чем в переводах. Пробовали?

— Нет, не дорос. По-английски читаю, но не люблю. Он для меня вынужденная необходимость.

— Приятно слышать. А я его просто ненавижу. Ни звучности, ни красоты, ни гибкости. Язык культурной нации, а сам ни к черту не годится. Что делаете?

Я рассказал, не вдаваясь в особенные подробности, а потом сам перешел в наступление.

— А вы что делаете?

— Я, — она усмехнулась, — работаю бэби-ситтером у собак и кошек . . .

— То есть?

— Очень просто, есть семьи, где имеются кошки и собаки, но хозяева заняты или ленивы выводить их гулять, и вот в Нью-Йорке есть такая профессия: купать, кормить, убирать и водить зверей на свежий воздух. Конечно, молодые девчонки большая конкуренция, но и нам находится работа, ибо не всякая хозяйка возьмет в дом молодую девчонку — недалеко и до беды . . . Я прихожу в дом, убираю всю эту грязь, а самое главное вожу зверей по улицам. Вот и есть на пиво и сигареты. Хлеб легкий, но не особенно приятный.

— И вы одна живете?

— Нет, был муж, но от него ничего не осталось. Он, правда, жив, но пользы никакой. Другими словами — был и весь вышел. Погубила его Америка. Знаете русского интеллигента? Человек привык занимать положение, иметь кабинет, подчиненных, почет, уважение, карьеру. У большевиков еще кое-как держался ибо человек знающий, образованный, а попал сюда, то стал мыть вагоны, потом топтался на спичечной фабрике, а то и просто уборщиком подвизался, ну и не выдержал

и спился, до предела . . . Стал алкоголиком и теперь сидит в специальном доме для безнадежных. Мы его и не посещаем, даже. К чему? И себя расстраивать, и его. Да и он уже дошел до положения животного. Еще кофейку? А я пивца, уж.

— А русские общественные и церковные организации не смогли помочь, что-нибудь сделать?

— Милый, если человек сам не хочет, то уж никто не поможет. А мой просто сдал; устал бороться и пошел по линии наименьшего и остались мы одни.

— Кто мы?

— Я и Липочка — дочь.

Не успела она произнести это имя, как пес моментально выскочил из-под стола и уставился на дверь. Обрубок хвоста показывал, как он нервничает.

— Идет. Эта собака, как барометр, — и банка с пивом моментально исчезла, — за версту чует хозяйку. А любит как? Жизнь отдаст, не задумываясь. Вы слыхали, конечно «чем больше я узнаю животных, тем меньше люблю людей»?

Озирис бросился к дверям и став на задние лапы посмотрел на Аполлинарию Никандровну: открой, мол; чего стоишь? свои идут.

Мать сняла цепочку и через минуту дверь распахнулась и мимо меня, бросив косой взгляд, прошла стройная, красивая женщина, в немного крикливом наряде. Мать засуетилась и обратилась к ней:

— Тебе чего-нибудь надо?

— Иди, иди, не морочь мне голову, — грубо ответила дочь. — Занимай своего гостя.

— Не в духе, да и редко бывает в хорошем настроении.

— Может, мне уйти?

— Да, уж я и не знаю . . .

— Пусть сидит, — раздался голос Липочки, — я его еще не видала.

Мы замолчали, а в соседней комнате слышался шелест переодеваемого платья и стук когтей плящущего по линолеуму Озириса.

— Соскучился? — совсем другим тоном сказала девушка.

В ответ пес гавкнул. И столько радости было в этом звуке. Все: и соскучился, и рад, и счастлив, и доволен, что вижу тебя.

— Ну, ладно, ладно. Скоро пойдем погуляем.

Пес закрутился по комнате, бросился в кухню, схватил с посудного шкафа ремешок и неся его в зубах побежал к хозяйке.

— Знаю, знаю. Сказала, значит так и сделаю. Посиди, дай мне отдохнуть, тоже.

Собака села, положив ремень на пол.

— Вот видите, с собакой больше разговаривает, чем с матерью.

— Не скули, — раздалось в ответ и дочь вошла в кухню. — Кто это? — спросила она, указывая на меня.

— Это . . . Это один русский. Симпатичный . . .

— Где ты его выкопала?

— Я? Я шла с собакой. Выводила не нашу, а чужую, на бульваре. Шла и что-то сказала ей по-русски, а он услышал, он сидел на скамейке, и подал реплику, тоже по-русски. Я ответила, а потом пригласила зайти. Это такая редкость: русский человек.

— Большая ценность, — с насмешкой сказала Липочка, — а зачем он тебе?

— Ну, просто так. Ты ведь ходишь, работаешь, видишь людей, разговариваешь, а я только с собаками, да кошками. Все-таки живой человек, да еще русс . . .

— Все врешь, старая.

— Ей-Богу, все правда.

И пока они разговаривали, обмениваясь не особенно любезными репликами, я рассмотрел дочь. Она была красивой женщиной, но ни капельки не похожа на мать. Копна бронзовых волос, безусловно не крашеных, зеленые глаза и чудесный цвет кожи делали ее лицо очень привлекательным. Стройная фигура, красивые формы и длинные ноги создавали полную гармонию. Лет ей было под тридцать пять, но выглядела она прекрасно. Косметики на лице почти не было. Только губы и чуть-чуть подведенные глаза.

— Насмотрелись, нравлюсь?

— Да, — смутился я, — приятное зрелище.

— Ну, и чудесно. Вы наклеите мне ресницы, если можете, так как ногти мне мешают делать такую деликатную работу? — она протянула левую руку, изящную и тонкую, на одном из пальцев которой было дорогое кольцо, как трилистник с тремя рубинами.

— Я могу, — смело сказал я, хотя никогда этого не делал, но решил, что рискнуть стоит. Не удастся — она покажет.

— Окей, идем ко мне. А ты перестань хлестать пиво.

— Я не пила, Липочка.

Дочь подошла к кульку, стоявшему у двери, и стукнула туфлем: пустые банки отозвались печальным, жестяным звоном.

— Слышишь? Это собака пила? Ну, незнакомец, пошли ко мне.

Мы вошли в гостиную, тут было чище и тараканов меньше, чем в кухне. Я успел заметить на комоде несколько фотографий красивого молого человека.

— Ага, ее зазноба! Хорош, но молод для нее.

Усевшись в кресло и подняв голову, она дала мне коробочку со всеми принадлежностями. Озирис тревожно следил за моими руками.

— Все в порядке, собачка, сядь.

Собака легла, но один глаз неотступно наблюдал за мной.

— Делайте вашу работу, как следует, а то натравлю пса.

И пока я выдавливал из тюбика тончайшую струйку белого клея и деликатно накладывал на ресницы, я еще раз полюбовался этим лицом под ярким светом лампы.

— Просто русалка!

Она тоже смотрела на меня, но это был взгляд только изучающий: во мне любоваться было нечем.

— А чего вы приперлись к нам? Соблазнились внешностью моей старухи?

— Нет, просто так. Заинтересовался новым знакомством.

— Скажите пожалуйста, какой «интересант» . . . Вот, если вы теперь будете к нам лазить, то я это понимаю. Из-за меня, а так . . . не втирайте очки. Где вы работаете? Что вы делаете? Чем живете? Кто вас подослал? Ну, в открытую!

Я рассказывал и лепя ресницы старался продлить удовольствие от прикосновения к коже этой женщины, имея возможность любоваться ею так близко.

— Если вы так работаете, как клеите ресницы, — сказала она глядя в зеркало, — то это похвально, но за темпы можно выгнать. «Копун». Ну, ладно, пойдем ужинать?

Секунда моей растерянности вызвала гримасу.

— Что, у вас нет денег или боитесь, что я вас скомпрометирую? У нас такой район. А может, скупитесь?

Тогда сделаем так: я буду есть, а вы сидите сбоку и держите салфетку, а?

— Да, нет. Я . . .

— Мне не хочется идти одной, потому что будут приставать. Надоело до чёртиков. Тошнит от вашего брата. Достаточно удовольствия я имею от вас.

— А вы работаете?

— А вы думали, что живу на старческую пенсию? Ну, так что, идем? Я бы, конечно, могла заплатить за двоих, но вы до этого не доросли.

— Я, конечно, я с удовольствием, я . . .

— О, может быть вас немного отпугнуло мое красное пальто? Ну, это раз плюнуть.

И тут, я даже опомниться не успел, как она подошла к огромному одежному шкафу, распахнула его и став за одной из дверок, стала раздеваться; выбрала другое платье и надела его. Я только слышал шелест одежды . . .

— Помогите застегнуть «зипер».

Я подошел и увидел прекрасную линию спины и кожу чистого, слоновой кости, цвета.

— Ну вот, и от вас польза есть, а теперь выбирайте пальто по собственному вкусу, — и указала на шкаф.

Я выбрал серое, отделанное мехом.

— Вкус скромный, но видно, что вы кое-что понимаете в нарядах, — сказала она.

И тогда появилась меховая, в тон, перекрытая лентой шляпа и лайковые перчатки. Туфли она надела темные, под стать всему наряду. Получилась чудесная, красивая женщина с огромными ресницами, прикрывающими омут ее зеленых глаз.

— Ну, стоит такая спутница одного ужина?

— Да! — ответил я с восторгом.

— Эх, вы, бабники, — презрительно бросила она, — вам сначала внешность подавай, а души может и не быть. Озирис, пошли.

Пес заплясал и запрыгал, подавая хозяйке ремешок.

2

Мы шли по темной улице и я спросил:

— Куда же собака? В ресторан не пустят.

— Ваше дело маленькое — сопровождать даму, — и она улыбнулась одному встречному, помахала рукой другому и пошла по своим джунглям, как королева.

— Со мной, на моей улице, вы в большей безопасности, чем с полицейским.

Ресторан назывался «Мистер Порт». Лакеи были в красных фраках, засаленных и покрытых пятнами. Народу было очень много и видимо большинство хорошо знало друг друга. У входа, где касса, возвышалась туша хозяйки. Нам подали борщ малинового цвета, с огромным количеством сметаны, и голубцы.

— Люблю русскую кухню, — сказала Липочка, кушая с аппетитом пирожки, — люблю ходить по ресторанам. Хоть тут я чувствую себя человеком, а не лакеем, да и сама еще на чай могу дать.

Я любовался, как она ела. У этой женщины, которая уже одной ногой стояла на скользкой дороге, была врожденная грация, чувство вкуса и любви к красивому. Признаться, я побаивался ее реплик и цинизма, но мне казалось, что это была маска, закрывавшая от людей другую, настоящую, натуру. Какую, я еще не знал. Пока мы ели, Липочка два раза выбегала на улицу.

— Куда вы ходите? Что такое?

— Вы забыли, что нас трое: я моему дорогому парочку пирожков вынесла, Озирису. Он же сидит на улице, у входа.

— А его не украдут?

— Автомобиль украсть легче. Кто попробует его увести, сам помчится от него на третьей скорости. Кстати, люблю езду на машине, особенно за городом. Имеете?

— К сожалению, нет.

— О, Господи, вот клиент попался: пользы как от козла молока.

— Но я же за ужин заплачу.

— Ну, разве что. Жаль, жаль, а то бы покатались. Не везет мне.

Я решил, что пора и мне переходить на слегка покровительственный тон:

— А вот если прийдетесь ко двору, я достану как-нибудь, и поедем. Надо заслужить.

— Это что? Намек? Не дождетесь! — зло сказала она.

— Вы меня плохо поняли.

— Мы понимаем вашего брата с полуслова. Насквозь видим, как стекло, но довольно грязное.

У нее сразу испортилось настроение.

— Ну, пошли, платите.

Я пошел к кассе, а когда возвращался к столу, то видел, как Липочка подсовывала под тарелку долларовую бумажку — чаевые.

На улице Озирис получил еще один пирожок.

— Вам, может быть, надоело? Берите такси и шпарьте домой к жене и деткам.

— Нет, нет, мне хорошо, — искренне сказал я, и она это почувствовала.

— Кстати, незнакомец, хотя я и не знаю, как вас зовут, да это и не важно: видите этот аптекарский магазин? Тут с моей помощью вы можете достать, вернее купить, такие вещи, на какие вам не всякий доктор даст рецепт.

— А именно?

— О, сильные транквилайзеры, возбуждающие энергию пилюльки и тому подобные вещи. Блат, не забыли такого слова, еще?

— Пока не надо, но запомню.

Озирис весело плясал около хозяйки. Я для него существовал «постольку-поскольку». Понемногу у Липочки настроение улучшилось, но видимо мой тон ей не пришелся по душе, и я оставил эти попытки. Пусть будет так. Я уже чувствовал, что встреча интересная и будет материал для рассказа. Когда мы пришли домой, на столе была свежая скатерть и с досок лежащих на ванне была убрана вся посуда. Из кранов медленно текла вода.

— Молодец, старушка, не забыла моей привычки, — кинула дочь.

Говорили мы о многом, но получалось впечатление, что меня изучали и мне не верили. В сущности это было верно: кто она я уже видел и понимал, но меня они совсем не знали. Может быть я им врал во всем. Время бежало незаметно и когда я сказал, что мне пора собираться, меня никто не удерживал, а только мать спросила:

— А как же вы домой доберетесь?

— А вот, выйду на улицу, возьму такси и поеду.

— О, Боже, да в нашем районе в это время такси не сыскать ни за что!

— Ну, пройду квартал-другой и возьму на первом углу.

— Да вы до него не дойдете, вас же разденут.

Я растерянно посмотрел на Липочку. Она курила и улыбалась.

— Что же ты молчишь? — обратилась к ней мать.

— А что мне его идти провожать, что ли? Пусть тут ночует.

Теперь уже растерянно посмотрела на нее мать.

— Ну, чего зенки вытаращила? Отведу его к деду и пусть спит на здоровье.

— О, — улыбнулась Аполлинария Никандровна, — это выход, правда.

— Ваше дело маленькое: командовать парадом буду я.

Девушка пошла в спальню (мы сидели в кухне) и вышла оттуда с чистой простыней и подушкой в свежей наволочке. Мы поднялись выше этажом, в сопровождении Озириса, и в темном и вонючем коридоре она ощупью открыла дверь и мы вошли. Расположение комнат было такое же, как у них. По-видимому весь дом имел стандартные квартиры, а только грязь и тараканы зависели от жильцов.

Здесь, в гостиной, стояла большая двуспальная кровать, диван и два стула.

Это было все, а на высоте человеческого роста, в разных направлениях были протянуты веревки и на них сушилось белье «деда», самого разнообразного сорта, вида, качества и чистоты. Стиралось оно, по-видимому, здесь же в кухне.

Липочка ловко постелила мне на диване и сказала:

— Так вот, «хуже татарина», спите здесь. Когда дед придет и постучит — откройте.

— А у него нет ключа?

— Есть, но во избежание любопытных надо держать дверь на цепочке, а то откроют замок сами.

— А где же дед?

— Он в таверне. Придет ночью. Он русский и, как все мы, гостеприимен. Одним словом, язык общий найдете. Уж если со мной нашли, то с ним в два счета, особенно если еще выпьете. Я бы посидела с вами, но хочу выкупаться. Ну, «чао», как говорят итальянцы, — и повернулась уходить.

— А зачем вы собаку брали сюда?

— В ваших же интересах, малютка, — блеснула она зубами и ушла.

Я остался один и сразу же заперся, а когда увидал, что мимо окна, снаружи, идет пожарная лестница, а окно легко открывается, то совсем упал духом. Влезть в комнату для «старожилов», труда не представляет. Вот уж влип что называется, и кого винить? Сев на чистую простыню я стал решать: «Раздеваться или ожидать деда? Что еще сулит эта встреча? Не слишком ли много на один вечер? Какая глупость! Искатель приключений, а она там с матерью наверное смеется надо мной».

Я лег, сняв пиджак. Примерно, около часу ночи кто-то начал упорно возиться, стараясь открыть дверь и как будто бы ключом. Решив, что это хозяин, я, в буквальном смысле слова «пошел ему навстречу». Судя по описаниям данным мне, передо мной стоял «дед» и был он пьян, что называется, в «дребезину». Не глядя на меня, он держась за стену, прополз в «мою» спальню и рухнул на мое ложе. Еще чего недоставало!

Бормоча что-то несуразное, старик сунул руку под диван и вытащил, к моему удивлению, телефон. Как это я раньше не заметил провода?

— Друг, — заплетающимся языком начал он, — я рад, что ты будешь жить у меня. Селедка есть, водка есть — проживем. Живи, хоть три недели. Я люблю та-

ких людей как ты. Понятно? Теперь ты мой гость. Я угощаю: сейчас позову девочек. Катьку из Сеула.

— Но зачем же девочек? Поздно уже. Спать надо, что вы? К чему это?

— Не морочь мне.

Он с трудом достал из кармана записную книжку и начал искать телефон Катьки. Но он, то ронял трубку, то книжку.

«Ну, — подумал я, — если что — сбегу, несмотря на ночь. Чёрт с ним, не пропаду же я. Буду бежать. Вот незадача!

Все же пьяное состояние хозяина не давало ему возможности довести свое гостеприимство до предела: разглядеть нужный номер и набрать его, тем более, что лампочка была под самым потолком, ему было не под силу. Когда же телефон два раза упал с дивана на пол, я перешел в наступление.

— Друг, — сказал я бодро, — давай выпьем. Есть?

Старик сразу ожил, а я его подхватил и, обнявшись, мы зашагали, вернее я, а он волочил ноги, в кухню. Ее я постарался проскочить поскорее и попал в стариковскую спальню, где спертый и затхлый воздух его окончательно доканал. Бросив пьяного на широкую кровать, накрытую огромной грязной периной, я отступил в сторону. Он даже не пытался подняться. Я тихонько зашагал к себе, по пути вымыв руки в кухне. Подперев дверь стулом и потушив свет, я лег и покрылся чем мог, ибо к полуночи отопление выключается, и предался невеселым мечтам... На стенах происходили тараканьи бега, но мне было не до них... Я думал. И представьте себе: несмотря на такую глупую и даже опасную ситуацию, я не жалел о визите. Я понял, что секрет был в Липочке. В ней, как в фокусе, концентрировался весь мой интерес к этой авантюре. Чудеса, никак не ду-

мал . . . В пять утра (я не спал все время) в кухне раздалось отхаркивание и кашель. Затем зазвенел стакан и забулькала наливаемая в него жидкость. Дед опохмелялся.

Хлопнула дверь холодильника и я услышал чавканье. Как видно хозяин приходил в спортивную форму. Я лежал тихо, не шевелясь, но это меня не спасло: заскрипел отодвигаемый стул, открылась дверь, вспыхнул свет и хриплый голос спросил:

— Слухайте, а вы что тут делаете?

Я как мог, объяснил свой непрошенный визит. Оказалось, что дед ничего из вчерашнего не помнил, но остался верен себе:

— Живи у меня хоть три недели. Жратва есть, выпить тоже. Будь другом. У меня была когда-то баба, но все забрала и убегла. Вот я один и казакую.

Я начал врать, что я человек рабочий, с железной дороги, и случайно очутился в Нью-Йорке и утром рано уезжаю в Филадельфию, где работаю . . . Дел пожурил меня, но узнав, что у меня большая семья, сказал:

— Ну, да. Это да. Семью нельзя бросать. Надо, брат, жить для семьи. Семья великое дело. А я вот бобыль.

Так беседуя, мы дотянули до рассвета. Я хотел взять простыню и подушку и отнести их, но дед не дал.

— Ты их не турбуй, еще спят. Она сама придет, або я отнесу. Мы свои люди.

Так и не дал.

Выскочив на улицу, я полной грудью вдохнул свежий, сырой воздух и помчался к улицам, где мог достать такси или автобус. Поймав таксомотор, я поехал домой и завалился немедленно спать.

— Чёрт с ней, со службой.

Засыпая, я видел зеленые глаза и красивый рот с папироской в малиновых губах.

— Будь здорова, Липочка. Очень приятно познакомиться.

И тут меня как осенило: да ведь она очень похожа на киноартистку Ронду Флеминг.

На другой день, работая, я начал анализировать происшедшее и пришел к выводу, что о себе сказал много, а о них, по существу, не узнал ничего. Что делает Липочка? Где она работает? И работает ли в нашем понятии этого слова или... Все может быть. В конце концов, они же почти на дне. Вот бы выручить, устроить куда-нибудь или продавщицей в хороший магазин. Она и за «модель» может сойти. Все в ней (с внешней стороны) идеально. А может это мне кажется только? Ночью-то все кошки серы.

— Позвольте, — спросил я себя, — честные ли у вас намерения при желании «спасти» эту семью?

И я должен был сознаться, что намерения не совсем честные. Эта женщина понравилась мне всем. В первую голову, конечно, внешностью, но манеры ее и реплики, подчас язвительные, мне тоже пришлись по душе. Одно только меня пугало: в каком мире она вращается, каков круг ее знакомств и что она делает, чтобы так одеваться?

Идти к ним без приглашения мне не хотелось. Так прошла неделя... А раз, вечерком, зайдя после работы в нашу редакцию, я услышал от секретаря:

— Слушайте, Ник, тут заходила какая-то женщина, очень затрапезного вида и спрашивала ваш адрес. Я сказал, что адреса сотрудников мы никому не даем. Она хотела что-то написать вам, а потом ограничилась таинственной фразой: «Скажите ему, что Озирис кланялся»! Мой дорогой, что это за конспирация? Что это за египетский пароль? Откройтесь! Для романа эта дама никак не подходит.

Увидав, что я смеюсь, секретарь воскликнул:

— Эге, голубчик! Тут, что-то есть. Чувствую, что доставил вам важные сведения. Ну, с Богом!

Я ушел. Если бы у Липочки был телефон (странно, почему его нет?) я бы позвонил немедля, а ехать в эту трущобу никак не хотелось...

А может быть мать приходила по своим делам, а дочь тут не при чем?

— Не зазнавайся милый, — сказал я себе и решил написать и послать с распиской получателя. Через два дня мне на работе сказали:

— Вас к телефону.

— Слушайте, незнакомец, если вам передают привет от собаки, то это не для того, чтобы вы писали письма псу. Не стройте из себя «персона грата» и приходите сегодня, если еще помните обитателей того роскошного особняка, где сушилось белье деда и хрустели под ногами тараканы. Не бойтесь, ночевать не придется, — и не дождавшись ответа, она (кто больше? Липочка, конечно) повесила трубку.

Волна большой радости окатила меня: «Не забыла, зовет!»

А потом начались сомнения.

А может быть я не первый, не я последний. Использовать, погулять, «расплатиться» и сбросить со счетов. Ну, а я разве так не поступал в своей жизни? Я, по крайней мере чувствовал, что у меня отношение к этой женщине другое. «Позвольте, — вдруг промелькнула мысль, — а откуда же она узнала мой номер телефона и где я работаю? Домашнего я тоже не поместил в книге. Здорово!»

Вечером я поехал на знакомую улицу и было уже не так страшно. Может быть охраняла меня радость встречи?

Липочки дома не было. Мать наверное, предупрежденная заранее, встретила меня приветливо, Озирис закрыл оба глаза. Это была уже победа.

Когда я пытался узнать у Аполлинарии Никандровны подробности Липочкиной жизни, я услышал:

— Я не знаю где она работает и что делает. Лучше спросите у нее, а меня не тревожьте. О ней я вам ничего сказать не могу и не хочу . . .

Я согласился. Раз есть запрет, зачем тревожить старуху.

Когда Озирис вскочил и бросился к двери, то непроизвольно встал и я, и пошел открывать.

— О, — сказала Липа, — вся семья в сборе. Слушайте, Ник, я иначе вас называть не буду, пойдем сегодня смотреть «Саунд оф мюзик». Я очень люблю эту артистку. Хорошо?

— Конечно, — ответил я, — с удовольствием; я тоже не видел этого фильма.

— Ну, это не так важно. Главное, что не видела я. А потом, чтобы вы сильно не тратились, будем ужинать у нас, хотя и предпочитаю ресторан. Да еще и хороший. А часиков в двенадцать я закажу такси и оно приедет за вами. Я вас усажу, благословлю на дорогу и вы поедете спать в голубой далекой спаленке. Без хлопот и треволнений. Вот — план. Люблю планы.

Я соглашался на все. Сегодня она была добрее, ласковее и не такая острая на язык, как обычно. Да, я совсем не знал душевного мира этого существа. Посмотрев картину, кстати очень хорошую, я хотел пойти в ресторан, но . . .

— Сегодня Остап Бендер — я. Подчиняйтесь. Поехали домой.

Мы приехали и стол был уже сервирован на славу. Она не позволила мне ничего покупать. Под столом

хрустел костями Озирис... В этот вечер я узнал, что она работает официанткой.

— Противная работа, но хорошие чаевые, и надо всегда улыбаться, когда хочется иногда плюнуть ему в морду.

— Почему?

— Пристают, назначают свидания, хотят проводить домой. Суют пятерку «на чай», а в ней записка с номером телефона или с «заманчивыми» предложениями. Я работаю только четыре часа.

— Разве хватает на жизнь?

— Я еще подрабатываю на стороне, — и она вызывающе посмотрела на меня.

Сердце у меня екнуло.

— О, это другое дело, — сказал я равнодушно.

Наступило молчание.

— Молодец, вы не любопытный, или делаете вид, или же вам это просто безразлично. Так или иначе — хвалю. А почему не спросите, как я узнала вашу работу и телефон? Интересно узнать? Так вот в моем мире, где я вращаюсь, такое дело — раз плюнуть. Понятно?

Я кивнул головой, хотя и не понял о каком мире шла речь.

Мы шутили, смеялись, а в двенадцать ночи Липочка, Озирис и я вышли на улицу, где я сел в поджидающее меня такси.

— А мы с ним еще погуляем по свежему воздуху.

— Сейчас, ночью?! — ахнул я.

— Дорогой мой, — сказала с грустью она, — я на этой улице в большей безопасности, чем вы у себя в квартире. Запомните, что у нас тут круговая порука и никто никого в обиду не даст. Если бы я сейчас крикнула, то вы бы уже через минуту лежали без сознания. А кажется, что вокруг никого нет. Хотите попробовать?

Я поспешно захлопнул дверцы и уехал радостный и довольный . . .

Незаметно я почуствовал, что эта скрытная женщина начинает занимать некоторое место в моей жизни и я так же понял, что нельзя ей навязывать своих чувств и показывать, что интересуешься ею, как женщиной. Инстинк мне настойчиво подсказывал: «Только не будь настойчив, не приставай. Если сумеешь понравиться, то такая, как Липочка, сама об этом скажет. Она не скроет. Скорее, что-либо другое».

Так шли дни моей жизни . . .

3

И когда босс сказал мне, что есть опять возможность поехать в Сиаттль на авиационный завод Боинга и поработать там в проектном бюро три-четыре месяца, я замялся . . .

— На полное жалование, плюс командировочные.

Я попросил два дня на размышление, и при очередной встрече (Липа звонила мне домой) я рассказал ей о предложении моей фирмы.

— За чем же остановка? Деньги всегда деньги. Езжайте. Что вас тут держит?

— Вы!

Она слегка покраснела.

— Слушайте, Дон-Жуан, не заправляйте арапа. Я в вашей жизни занимаю меньше всего места. Я знаю ваш бродяжий дух и жажду приключений и смотрю на себя, как на очередной эксперимент в вашей многошумной жизни. Будьте искренни и не трепитесь. Понятно?

— Да, — ответил я, — хотите искренности? Я бы поехал, если бы поехали и вы.

— Здравствуйте, пожалуйста! Я не такая дура, как вы думаете. Во-первых я работаю, во-вторых, — подрабатываю, в-третьих, — хотели ехать в Тулу с самоваром? И в-четвертых, — вы не настолько необходимы мне, чтобы я срывалась, как сумасшедшая и летела за вами. Хватит уж того, что есть.

— Ну, а если я откажусь от поездки и останусь из-за вас?

— Ваша жертва будет оценена по достоинтву, но никакой награды вы не получите — в этом ручаюсь . . .

— И все же я решил не ехать.

Она ничего не ответила, положила руку на мою и посмотрела. И в этом взгляде я увидел благодарность и доверие и что-то еще, чего я не понял, но никак не ожидал увидеть от женщины такого пошиба.

Мы молчали.

— Никки, — сказала она серьезно, — вы не психолог, но похожи на честного человека и я чувствую, что в отношении меня вы безусловно искренни. Вы не навязываетесь, не тянете своих грязных лап ко мне, не приглашаете в свою холостяцкую квартиру, не зовете в отель и не соблазняете подарками и деньгами и, самое главное, не спрашиваете «как дошла я до жизни такой». Все это редкость в наши дни. Я ценю это. Одним словом, вы ведете себя не как настоящий мужчина и это бесконечно дорого мне. Я еще никогда, поверьте в это *никогда* не говорила таких длинных и от души монологов, но и наша сестра тоже не блещет достоинствами. Я всегда на чеку и всегда чего-то опасаюсь. Я всегда в состоянии тревоги, но это другая тема. Резолюция: ваша внешняя политика правильна и одобрена всем конгрессом. В опозиции только Озирис.

— Почему?

— Собака безошибочно чувствует соперника.

— Соперника? В чем?

— Замнем для ясности.

После этой беседы я увидел, как Липочка «потеплела».

— В том, что вы полноценный мужчина, я не сомневаюсь, но то, что вы ни разу не пытались меня поцеловать сбивает меня с панталыку.

— Слушайте, — спросил я, — откуда у вас все эти бойкие слова, фразы и выражения?

— Во-первых, мамаша, которая знает русский язык досконально, во-вторых, вы же видели сколько у меня книг, а в-третьих, если так можно выразиться, я продукт нашей великой эпохи, гори она со всех концов . . .

И все же я знал о Липочке далеко не все. Были вечера, когда она могла бы мне позвонить, встретиться, пойти погулять и она этого не делала.

— Я же говорю вам, что я подрабатываю. Вот, когда по-настоящему пойму, что вы заслуживаете доверия, я поведу вас туда и вы посмотрите, с чем это едят.

Я ждал, я не приглашал ее к себе, помня тот разговор.

— Мне кажется, что человек, пишущий такие вещи не может быть хамом. Слишком гуманен. Хотя . . . всякое бывает. Сюрпризов хоть отбавляй в жизни . . . Некоторые рассказы очень задушевно написаны; правдиво и главное, из «дней нашей жизни». Очень побаиваюсь, что скоро найдутся краски на вашей палитре и для меня. Вот уж размалюете, держись, только . . .

Как-то вечером, когда мне так хотелось ее видеть (я уже чувствовал, что мне ее не хватает) раздался телефонный звонок.

— Слушайте, друг, я случайно узнала, что пятнадцатого декабря день моего рождения. В моем возрасте о таких делах деликатно забывают, но я хочу сделать для вас исключение. Во-первых мы пойдем в «Плазу», там уютно и красиво кормят, во-вторых, купим какой-нибудь подарок и на этом торжество будет закончено.

— И это все?

— Я думаю, что больше заставлять вас тратиться нет смысла. Ну еще на такси, когда поедем домой.

— К кому?

— Ко мне, конечно, — и в ее голосе зазвучал металл, — не раздражайте меня. А если встреча пройдет на высоком уровне, вы получите заслуженную награду.

— Что это? — насторожился я.

— Не то, что вы думаете. Вы будете допущены на мою вторую работу. Это, представьте, большое с моей стороны доверие. Договорились?

И мы условились, что встретимся в вестибюле публичной библиотеки, ибо моя работа была в двух шагах от нее, и Липочкин ресторан тоже где-то вблизи, хотя она никогда не давала мне его адреса.

— Еще не хватало, чтобы я вам суп подавала и получила четвертак «на чай».

Первое, что мы сделали встретившись, была давно задуманная поездка в экипаже по Сентрал Парку. День оказался на редкость теплым и солнечным. Мы взяли не экипаж, а закрытую карету.

Спутница моя была нарядна, привлекательна и эффектна — лицом в грязь не ударит. Врожденная «дама из общества». А если бы это общество знало. Когда мы ехали, я услышал:

— Знаете ли вы, что я была замужем? Мамаша не трепнулась?

— Нет, да я и не интересуюсь вашим прошлым. Настоящее и особенно будущее . . .

— Ну, все-таки, я была замужем и мой муж по глупости, иначе я это не назову, вернулся на родину; он был власовец. То, что он родину больше любил, чем меня, делает ему честь, но то, что родина отплатила ему за его любовь, не как мать, а как мачеха — это обидно. У вас нет вопросов?

— Не надо, Липочка, не омрачайте своего дня.

— Вы правы. Вы деликатный и тактичный. Может, это политика, а не врожденное качество, но вы медленно, но верно поднимаетесь по лестнице моего уважения. Смотрите, чтобы не закружилась голова.

— Если поддержите, не упаду.

Она не ответила, а пожала мне руку.

Когда мы вышли из кареты, я взял ее под руку (в Америке так не ходят) и мы пошли по оживленным, предпраздничнo шумным, улицам Нью-Йорка.

— Теперь займемся подарком, — сказал я.

— О, вы не забыли. А я думала: если вспомнит, то ограничусь пустяком, а если забыл, то «накрою». Я только бы хотела, чтобы купленная вещь была, как можно чаще со мной, чтобы видя ее или держа в руках, я вспоминала бы о вас . . .

— Ого, вы уже думаете о разлуке?

— Милый, все может быть в нашей суматошной жизни.

Выбрали мы зеленый халат и японские туфельки.

— В них я буду всегда дома, лучшего подарка и не надо.

А потом пошли не спеша, в огромной толпе, но слыша и видя только друг друга, к «Плазе».

— Люблю такую атмосферу, — оживилась моя спутница, — чувствуешь, что ты тоже человек, когда перед тобой извиваются равные тебе.

Мы получили (я звонил заранее) уютный столик на двух, и заказали коктэйли, и когда я выпил за Липин день, то появился маленький тортик с горящей свечкой и надписью «Хэппи бёртсдей».

— Спутничек, вы превосходите самого себя. Когда же вы успели заказать все это? Вы и милый, и внимательный. Как давно я не видела в жизни такого отношения . . .

— А какое же вы видели?

— Односторонее. Понятно?

Наш ужин проходил весело и непринужденно. Мы смешили друг друга и были счастливы. Мы смеялись громко и радостно. Недалеко от нас сидела группа мужчин и, как бы в ответ на наше веселье, один из них повернулся, приподнялся и несколько подчеркнуто поклонился Липочке . . . И сразу же ее жизнерадостность угасла. Тогда начали смеяться наши соседи; по виду, по тщательности своих выутюженных костюмов, по светлым галстукам на темных рубашках и по напомаженным головам, они не производили впечатления людей из общества: а двое были в темных очках и с сигарами.

Липочка заволновалась и сказала:

— Идемте, хватит, повеселились! . .

Когда мы поднялись мужчины замолчали и нагло смотрели на нас.

— Кто это? — спросил я уже на улице.

— Ах, это люди из того мира, откуда мне уже не выбраться на свежий воздух.

И когда мы сели в такси, она сказала мрачно:

— Дайте шоферу ваш адрес.

Мы поехали ко мне. Войдя и сняв пальто, она легла на диван.

— Укройте меня и сядьте рядом, в кресло. Дайте руку и молчите. Сможете?

Я сделал, как она просила и чувствовал, как она дрожала.

— Холодно? Укрыть еще? Дать выпить чего-нибудь?

Она не отвечала. И показалась она мне в эти минуты такой бедной, жалкой и беспомощной, что я непроизвольно начал гладить ее волосы . . .

Она молчала. Что еще на душе у этой женщины? Чего она боится? Что ее тревожит? И вот эта встреча в ресторане? Что тут кроется? Но спрашивать не надо. Мне только думалось, что если бы она поделилась со мной — ей стало бы легче. А чем я могу помочь? А так хочу.

— Дайте виски, да побольше.

Я подал, она выпила, опять взяла мою руку . . .

— Вы ведете себя, как красная девица, даже противно смотреть. От вашей заботливости у меня в животе бабочки летают . . .

А уже через пять минут я услышал ровное дыхание спящего человека.

Тихонько высвободив руку, я поцеловал ее в губы. Правда, смешно? . .

Мне было только ее жаль, другого чувства не было. Как видно, жизнь ее не баловала, а за маскарадным фасадом улыбок, нарядов и показной бодрости стоял большой душевный надлом и грозные вещи, о которых я не знал . . .

Взяв книгу, я начал читать, а потом и заснул. А когда открыл глаза и вскочил, гостьи моей уже не было. Часы показывали три. На диване лежало мое помятое пальто, а в умывальнике, на зеркале губной помадой

было написано: «Кто пил шампанское, того на пиво не потянет». Я не стер эту надпись и она и по сей день там.

Так неудачно закончилось празднование для рождения Липочки . . .

Целую неделю она не подавала никаких признаков жизни; я нервничал уже по-настоящему, но ехать туда не хотел. В следующий четверг раздался долгожданный звонок.

— Мистер Твистер, бывший министр, если бы вы очень хотели узнать, куда девалась ваша кратковременная спутница жизни посреди ночи, вы бы приехали. Нельзя быть таким безразличным. Это даже обижает.

— О, я далеко не безразличен! Вы знаете.

— Все равно, мне нужны доказательства. А может быть меня украли, убили, ограбили или переехали колеса жизни. Даже обидно становится. Кровь-то у вас есть? Или тушь вместо нее? Одним словом, сегодня вечером мы поедем смотреть мои «подработки». Хотите? Ведь вас всегда надо за язык или за руку тянуть. Другой бы на вашем месте действовал нахрапом и достиг бы большего.

— А я не хочу большего — «нахрапом».

— Вот это-то я в вас и ценю. Одним словом, сегодня в десять вечера у меня.

— Так поздно? На работу?

— Ха-ха-ха! Это только начало. Разгар — позже. Жду, — и повесила трубку.

Что это такое? Театр? Ночной клуб? Танцевальный зал с дамами на прокат?

Когда мы ехали, Липочка сказала:

— Ничему не удивляйтесь. Я уверена, что это для вас впервые. Ни о чем не спрашивайте. Будем возвращаться домой — расскажу. В зале вы будете сидеть за столиком. Закажите какой-нибудь напиток. Если к вам

подсядет какая-нибудь женщина можете угостить ее и спойте ей «но на большее ты не рассчитывай». Сошлитесь на меня. Та сразу же скиснет. Понятно? Думаю, что да. Занавес поднимается. Первое действие «Комедия жизни» перед вами . . .

Мы вошли. За себя я заплатил, за вход, пять долларов. Это был небольшой зал человек на 100-150. Много столиков, но на середине зала площадь для танцев. Небольшая сцена, закрытая бархатным занавесом, довольно потрепанным. Перед сценой несколько рядов стульев для публики. Запах кулис, дешевой парфюмерии и еще чего-то застарелого и застоявшегося. Лампочки под абажурами так, что в зале света немного, но вполне достаточно для танцев и разглядывания партнера. Такой свет значительно скрашивает недостатки внешности. Буфета не видно, но расторопные, и как на подбор красивые и молодые девушки в чулках до бедер и плотных жилетках с глубоким вырезом, разносили напитки. Одна из них быстро подошла ко мне и попросила за кулисы.

Липочка встретила меня, как режиссер встречает репортера:

— Хотите познакомиться с мужчинами-женщинами? Я проведу вас в артистическую уборную, где мужчины готовятся к своему «концертному» номеру, а будут в роли женщин.

— Хочу, конечно. А это будет удобно?

— У нас все удобно. Идем.

Мы пришли в небольшую комнату, где перед ярко освещенными зеркалами сидело четверо мужчин. Она представила меня им, а они даже не повернулись ко мне. Надоело, наверное.

— Ну вот садитесь в уголок и наблюдайте, а когда они будут готовы, идите в зал вот по этому коридору, — и Липочка поспешно ушла.

И на моих глазах солидные мужчины, отцы семейств, только что говорившие об успехах своих детей в школе, превратились в интересных женщин. Видеть это было очень любопытно: сначала тщательный грим на лице (белила, румяна), накладные ресницы и парики, конечно, а потом фальшивые зады и бюсты, затем кружевные юбки и чулки, туфли на высоких каблуках. Тускло и безнадежно задребезжал электрический звонок. Сигнал со сцены. «Дамы» в последний раз оглядывают друг друга, проверяют крючки, затягивают ослабевшие тесемки, подтягивают чулки, чтобы не крутились, и весело стуча каблучками, кто докуривая сигару, а кто жуя резинку, пошли на сцену.

Все столики были заняты. За сценой заиграл механический оркестрион, громко и назойливо. Занавес раздвинулся и на сцену выскочила «дама» с оглушительным бюстом и задом. Она запела скабрезную песенку под аккомпанимент невидимого зрителю рояля. Играя своими «прелестями» перед аудиторией, она танцевала довольно плохо, и ушла.

Раздались звуки аргентинского танго, времен первой мировой войны. Вышла пара: апаш и его подруга. Танцевали они отлично и со знанием дела. Неожиданной оказалась концовка: когда апаш зверским движением, полным грубой красоты, бросил свою подругу на пол, та сняла парик и оказалась мужчиной, а «он» снял берет — и черные волосы волной опустились «ему» на плечи. Паре горячо хлопали. Третий номер программы был танец живота. Женщина была не молодой, тело не первой свежести и жирок подрагивал вокруг всего торса. Зрелище было непритязательным и особых по-

хвал не заслужило, даже тут. Затем вышел комик в широченных штанах «с чужого плеча» и в пиджаке, как мешок. Он говорил всякие гадости, отпускал более чем плоские шутки, а аудитория ржала. После него вышли три «дамы» при туалетах которых я присутствовал. Они пели и танцевали причем иллюзия, что это настоящие женщины была полная. Я был уверен, что большинсво публики не знало об обмане. А если это так, то к чему подделка? Я бы тоже легко ошибся, если бы не побывал у них в уборной. Пели они не плохо, а затем плясали канкан, высоко закидывая юбки и показывали кружевные панталоны. Зал требовал повторения! Дали антракт. Люди уселись за столики и начали пить. Между столов сновали кельнерши подавая, принимая и получая сразу же деньги. Как видно, гвоздь программы был во втором отделении.

Сидя в углу и куря трубку, я чувствовал, как черное чувство обиды, горечи и ревности подымалось во мне. Так вот где она проводила свои вечера, вот откуда зарабатывались «легким трудом» деньги. Я еще не видел, что она делает и какова роль Липочки в этом «заведении», но хорошего я уже не ждал . . . Девушки поднесли мне хайбол и потягивая холодный, опьянявший напиток я думал о том разочаровании, которое будет, а оно будет — это неизбежно. А чего же я в сущности ждал? Чего? Я же подозревал худшее. Я думал, что у нее есть постоянные клиенты, которых она навещает или которые присылают за ней свои машины и это источник ее существования и мирился даже с этой мыслью. Что же лучше? Это или то? Черт возьми, я не думал, что эта женщина так войдет в мою жизнь. Как заноза! Но я смогу ее выдернуть, смогу освободиться. Разве не бывало у меня в жизни разочарований и оши-

бок? Ну, еще на одну больше. А может быть уйти, чтобы не видеть того, что меня ждет?

— Нет, — сказал я себе, — выпьем чашу цикуты до дна, — и добавил, — не может без пышных фраз, маэстро.

Антракт кончился. Я не сел, да и не было мест... Люди, знавшие программу брали стулья от столов и шли ближе к сцене. Пошел и я...

Начали обычным «стриптизом» — раздеванием танцующей девушки на глазах у публики. Выходила она в манто и с муфтой, например, а уходила имея на теле три убогих треугольничка и... это все. Обычное в театрах подобного типа. Раздевание сопровождалось бесстыдными движениями и подвываниями. Публика соответствующе реагировала. После этого был акробатический номер: пара «дам» (бывших мужчин) боролась и бросала друг друга на пол, всячески изощряясь и срывая одежду, одновременно демострируя и страсть и ненависть... Зал ревел. Пока шел этот номер, я заметил в руках мужчин первого ряда сифоны с сельтерской водой. Это что еще за новости?

Все стало ясным через несколько минут. На сцену вышли четверо девушек, сцена ярко осветилась. Вместо одежды, тело каждой было обернуто туалетной бумагой. Да, да, я не ошибся: от шеи и до щиколоток. Бумага была цветная: оранжевая, голубая, розовая и зеленая. Они начали танцевать. Танец — ничего особенного; было повторение одного и того же... Вдруг из первого ряда брызнула на сцену струя воды, направленная меткой рукой в грудь танцующей «шоу-герл». Это был сигнал, и все сифоны весело шипя бросились в атаку на тоненькую бумагу облегавшую женские тела... Девушки смеясь и радуясь (чему?) продолжали двигаться в ритме музыки, как ни в чем не бывало. Во-

да делала свое дело: бумага раскисала и падала мокрыми, тяжелыми хлопьями на заранее подстеленную клеенку, а крашенная жидкость стекала в пристроенный в конце сцены рукав. Танцовщицы оголялись все больше, и блестя под прожекторами голыми телами пустились в вакхический пляс. К этому времени иссякли и сифоны. Довольные и удовлетворенные зрители отходили от сцены и садились на стулья. Омерзительно, гадко и обидно. Чем же порадует нас Липочка? Опять антракт. Вот он кусок хлеба вместо честного труда в магазинах и на фабриках. А после закрытия театра они, конечно, не едут домой, а расходятся по рукам и среди них — моя Липочка? Моя? С каких пор эта женщина так захватила меня? Нет, тут не только внешность. Я чувствовал, что ее внутренний мир значительно чище того, что ее окружает. Я не мог ошибиться. Инстинкт меня никогда не обманывал . . . и все же!

4

Опять раздвинулся занавес. Абсолютная темнота. Мое напряжение достигло предела. Внезапный, яркий, режущий глаза, ослепительный свет и . . . она, Липочка в центре сцены, совершенно обнаженная. Ее исключительные формы, цвет ее чистой кожи, белый под лучами электрического света, красота ее лица — заворожили всех. Конечно, может это мне все казалось, но наступившая тишина доказывала это . . . Зал вздохнул одной грудью и загремел оглушительными аплодисментами. Ее благодарили за красоту и смелость. Ее здесь знали хорошо! Да, это было так. Я никогда не думал, что она так великолепна. Я, который мог бы всегда в этом убедиться, теперь я это сознавал. Но я не пожалел

об этом, да и не думал. Я только ждал, а что будет дальше? Она стояла на огромном металлическом блюде в виде цветка «Виктория-Регия». Как видно, этот ее номер видели люди не в первый раз и знатоки и ценители сгрудились поближе к сцене.

Края этого «цветка» были усеяны маленькими дырочками, из которых били вверх фонтанчики так, что они создавали вокруг ног «статуи» водяную юбку беспрерывно шевелящуюся. Высота струи была рассчитана так, что получался целомудренный водяной занавес вокруг бедер женщины. Потом, на какую-то секунду, фонтан замирал и она стояла вся с головы до пят перед жадными взорами зрителей. Где-то тихо плакала скрипка. Внешне номер был поставлен с большим вкусом . . . Неожиданно, я даже не понял, что это такое, в стоявшую фигуру, олицетворявшую вечную и бессмертную женскую красоту, полетел из зала кусочек чего-то белого и ударившись об это живое тело упал со звном на блюдо. Следом за ним полетели еще и еще. Как белые большие пчелы они летели к этому красивому цветку, радовавшему наш глаз и неподвижно украшавшему эту грязную сцену. Эти «пчелы» падали у ее ног, наполняя притихший зал мелодичным звоном своего падения. Я посмотрел на руки моего соседа: в них был кусковой сахар, маленькими кубиками. Это он был на всех столах и я даже удивился. К чему это? Оказывается, он был нужен, чтобы бросать им в эту безразличную ко всем, фигуру. А когда я присмотрелся, я понял, почему так неимоверно освещалась Липочка: острые уголки сахара ранили нежную кожу и каждый укол-царапина вызывал маленькую капельку крови.

«Моя дорогая, что ты делаешь? Какому унижению подвергаешь себя? Во имя чего? Неужели — деньги?»

Иногда капелька крови не удерживалась и скользя по коже прочерчивала на ней ярко красную ниточку...

Улыбающиеся зрители соблюдали один неписанный закон: в голову сахар не бросался. И все же, на лицах бросавших была жестокость... А я стоял здесь же и смотрел на этот ужас. Боже мой, неужели она мне так дорога? Я хотел бежать отсюда, но я знал, что все равно я никогда в жизни не забуду этого зрелища. Я почувствовал, как хрустнул у меня во рту мундштук моей трубки — я перекусил его.

А потом опять мысль: «Что ты там обоготворяешь, ставишь на пьедестал? Женщина, да еще дешевого пошиба... Честная, уважающая свое достоинство, пойдет в уборщицы, но не станет торговать собой «распивочно и навынос». — Уйти?..» Клубы дыма от сигар и папирос плавали в воздухе. Были уже такие зрители, которых сцена не интересовал. Они сидели у столиков, пили и обсуждали свои дела, которым пора уже свершиться и закончатся они сегодня ночью... А в это время на ярких лентах с потолка спускалась гитара, в широко раскинутые, красивые руки. И тогда из зала (как видно Липочку любили не только за красоту) полетели «заказы». У каждого был свой вкус. И она запела, но как? Ничего я о ней не знал, ничего. Конечно, тут была специфическая публика: и гангстеры, и мелкие торговцы, и служащие, и уголовные. Во всяком случае темный элемент тут преобладал. И чтобы эта публика, которая пришла сюда за дешевым и возбуждающим удовольствием, вдруг замерла в ожидании первых звуков любимых песен?! Просто удивительно. Но когда зазвучал голос Липочки (она пела без микрофона), я понял силу ее обаяния в соединении с той задушевностью и красотой ее голоса, который знали завсегдатаи, но, как это ни странно, не знал я!

Казалось, что в этом прокуреном и пропахшем зале, она пела для себя одной; она одна слушала себя, свою песню, заложенную где-то в глубине этой страдающей души и она освобождалась от этого страдания, давая простор звуку своего голоса и тому настроению, которое томило и мучило ее...

Наверное, за сценой, где-то вертелась пластинка с этой мелодией или лента магнитофона, потому что был слышен симфонический оркестр, сопровождавший это великолепное исполнение, да еще плюс электрическая гитара в талантливых руках певицы. Она прекрасно знала силу своего влияния на толпу и держала ее в руках; а у этих покорно и зачарованно слушавших ее людей, были в карманах и ножи и револьверы на всякий случай их трудной жизни...

Первое, что она запела и, что совершенно не подходило к такой аудитории и такому помещению, был романс Чайковского, на русском языке. Был ли это намек, спрашивала ли она, ждала ли ответа, но, конечно, это относилось ко мне: «Люблю ли ее, я не знаю, но кажется мне, что люблю», — звучало в темноте.

«А, правда, как я отношусь к ней?» — в сотый раз спрашивал я себя. А пока я думал и анализировал, уже зазвучал по-еврейски «Шолом», затем по-испански «Челита», по-немецки «Лили Марлен», по-английски «Сансет-Санрайс», по-французски «Мулен-Руж»... Зал ревел от восторга. И действительно, в каждую песенку Липочка вкладывала что-то специфическое, присущее только народу, чью песню она пела. А «народ» сидящий и стоящий в зале, прекрасно это понимал и чувствовал. Ведь это было его, родное. Когда же прозвучало «Аривидерчи Рома», я понял, что большинство в зале итальянцы. Она спела еще «Сорренто». Слушателей своих она прекрасно изучила и знала все их слабые ме-

ста; тогда я увидел то, чего я не видел нигде. Зрители бросились к сцене, взяли на руки певицу и осторожно, как драгоценную статуэтку, пронесли через зал, в сторону кулис. Все пели и кричали! Что за массовый психоз? Чего? В чем дело? Они ее так ценили? Да, они знали, что с ее талантом она могла бы петь в лучших местах и свободно могла бы конкурировать с прославленной Катериной Валенти. А вот подвизается на этих грязных подмостках, в этом пропахшем потом и немытыми телами сарае. Для кого? Для них. Это их девушка! Это их собственность и вряд ли они отдали бы ее кому-нибудь без пролития крови. Это я понял. И понял, что они не позволят ей уйти отсюда, лишить их той большой радости, что она им давала.

А пока публика рассаживалась к столикам, появились те девушки, что выступали на сцене и снуя меж зрителей продавали свои фотографии . . .

Я видел, как один из посетителей, как видно человек «с положением» в этом мире, жуя сигару ударил девушку по лицу. Она жалко улыбнулась и пошла дальше со своими сигаретами и фотокарточками. Как видно, он имел право на это. Явление, по-видимому, здесь нормальное. Неужели так может случиться и с Липой? Девушек приглашали к столикам, с ними танцевали. Это была ночная жизнь людей, стоящих одной ногой в преступном мире, а другой — на грани закона. Мне там места не было, да и не хотел я его, и поспешно ушел, ибо был там и чужой и лишний . . .

Ночью меня разбудил телефонный звонок. Я схватил трубку.

— Почему вы ушли? Почему вы так обидели меня? Неужели вы не могли меня обождать?

— Слушайте, — сказал я грубо, — я работаю, мне надо рано вставать, а вы среди ночи . . .

— Извините меня, мне больно, — в голосе зазвучали слезы, — простите, — и стукнула трубкой; а я не мог уже заснуть. Было три часа ночи. Что я сделал? Ей нужна была моя помощь, мое ласковое слово, утешение, а я так грубо, бесцеремонно оборвал ее . . .

Утром я позвонил начальнику отдела и попросил разрешения опоздать часа на два, а сам, взяв такси помчался к Липочке. На мой стук залаял Озирис, а потом сразу же замолчал; значит узнал. Липин голос спросил:

— Кто это?

— Это я, откройте.

Она открыла. Господи, сколько радости и счастья прочел я на этом лице! На ней был, как всегда, мой халатик.

— Войди же, войди!

Я вошел и пес завилял своим обрубком. Глядя на него, она сказал:

— Лучшая лакмусовая бумажка. Вот по ком я узнаю людей; никогда не ошибался!

Липа стыдливо запахивала мой подарок, имея на ногах японские туфельки. Видно было, что она и смущена и обрадована.

— Я оденусь, хорошо?

— Нет, нет, я на короткое время; я отпросился с работы.

Она не выпускала моей руки и смотрела на меня с такой лаской и благодарностью.

— Почему вы ушли вчера? Ведь я же хотела сказать, объяснить . . .

И тут опять вчерашняя картина этой оголтелой, шумной толпы, с пьяным дыханием, несущей на своих грязных и потных руках тело Липочки, встала передо мной.

— Так вот это ваш «подработок»? Этим позорным трудом вы добываете себе деньги? Разве с вашим голосом вы бы не могли петь в театрах, давать концерты? Ведь с такой внешностью и таким уменьем петь, да еще на разных языках — вы откроете двери повсюду. А как вы живете? В грязи, в тесноте. А что это за притон, где я вас увидел? Ведь вы же на грани падения. Да и не знаю я, что вы делаете потом. Зачем это? эта грязь, эта пакость? Разврат, пьяные люди пришедшие туда с определенной целью. Мне противно было все с самого начала, но я решил посмотреть, что делаете вы и увидел. Лучше бы я не знал вас раньше. Я возненавидел и ваш «труд» и вашу красоту . . .

Она слушала и улыбалась.

— Милый, вы же ревнуете. Это высшая награда мне.

— Я ревную? — и я фальшиво засмеялся.

— Да, да. Озирис, посмотри на нашего друга. Он наш, он с нами.

Она притянула меня к себе и поцеловала нежно и крепко.

— Я не могу уйти из этого мира, — сказала она серьезно, — вы не все знаете из моей жизни, Да, я могла бы работать в лучших казино и театрах, хотя бы в Лас-Вегас или Рино, потому что и пою и танцую, но теперь мой возраст уже препятствие. А мои зрители меня не обидят и не откажутся от меня. Я — их, а они — мои! За мои песни, за мое тело, которое принадлежит всем и никому, они горло перегрызут другим и не дадут меня в обиду. Они уже не раз доказали мне это. Ну, уходите, а то начну вас целовать . . . Если боитесь, то уходите. Ступай, мой дорогой. Ты посмотри на Озириса. Что у него на морде, то и на душе. Без обмана. А мы? Мы, люди? Человек вам улыбается, а сам держит камень за

пазухой. Знаю я жизнь, ох, как знаю. Страшная вещь. Все врут, все обманывают!

— Слишком уж цинично.

— А зато, как правдиво.

Тот мир, в котором Липочка плавала, как рыба в воде, меня и пугал, и отталкивал, и притягивал, как что-то новое невиданное раньше. При всей своей несомненной испорченности и циничности, эта женщина была иногда до удивления целомудренна в своих словах и поступках. И это не была рисовка, нет; это было ее естественное состояние. Значит цинизм был ее щитом, которым она закрывалась от грязи жизни. Парадокс. Я беру на себя смелость сказать, что «любовь» не была ее профессией. Теперь-то уж, я знал наверняка. Мои попытки уговорить ее бросить такую «работу», она встречала насмешками.

— Гнуть спину восемь часов и получать за это гроши? Бог дал мне красоту и талант; буду же ими пользоваться пока могу, хотя, может быть, я и достойна лучшего . . . Оставьте ненужную трепотню, благотворитель, — жестко обрывала она меня.

Долго и много говорили мы. Провожая меня к дверям, она обняла меня и поцеловала, вложив в этот поцелуй все свое чувство. Я ответил так же, и мне уже не хотелось уходить из этой комнаты, где было грязно и душно, ползали тараканы, но где было то, что люди называют «с милым рай и в шалаше». Утопая в зеленом сумраке этих мерцающих глаз, я услышал:

— Да, пьют пиво и после шампанского.

Я дал Липочке ключ от своей комнаты и теперь чистота и порядок сразу же завоевали там первое место. Я, как-то не замечал своего беспорядка, а теперь почувствовал женскую руку в моей запущенной комнате. Иногда я находил букетик цветов, а иногда что-нибудь

вкусное, в холодильнике. Милые знаки внимания к моему белью и костюмам, говорили о многом. Она всегда хотела видеть меня элегантным, а я меньше всего об этом думал. Так шла наша жизнь . . .

5

Как-то, беседуя, она призналась, что пока она живет в этом страшном мире мести, жадности и преступлений, она никогда не будет спокойна. Вот, если бы она могла уехать в другую страну, захватив с собой тех, кто ей дорог . . . Тогда, может быть, она бы и выздоровела, пришла в себя от этого «наваждения», ожидая возмездия за чужие грехи.

— Зачем ты встретился на моем тернистом пути? — говорила Липочка. — Прямо Божье наказание. Не нужно было это мне, не нужно. Но зато, как я счастлива от этой встречи! Ты даже не знаешь. Я увидела, что . . . ну, ладно, не надо сравнений, а то еще возгордишься. В моей жизни это впервые и поэтому оно меня так потрясло и окрылило. Стоит жить, стоит. Вот только я не уверена в тебе. Себя-то я знаю. Это всерьез и надолго.

Я тоже чувствовал себя счастливым, но я знал, что жениться на этой беспредельно любящей меня женщине, я бы не смог. Ее прошлое было для меня огромным препятствием, да и настоящее было не особенно радостным.

— То, что я первая призналась тебе в любви, напомнило мне поговорку «Истинным признаком любви у женщин служит — смелость, а у мужчин — робость». Согласен?

— А я не проверял.

— А я верю, что это так. Ах, как вы все были мне до сей поры безразличны и противны и вдруг — на тебе! Не мала баба клопоту — купила порося! — и она брала мою руку и целовала ее. Сколько нежности и чувства вкладывала она в свое отношение ко мне. И это была женщина, жившая в мире, где не было ничего святого. Платил ли я ей тем же? Мне казалось.

— Вот ты, — говорила она, — возмущаешься тем, что видишь в нашем клубе. Так, ведь это же детская забава, пустяки. О, бывает хуже и значительно страшнее. Знаю.

Я слушал, молчал и подозревал.

В отпуск, о котором я мечтал, что мы его проведем вместе, у моря, она отказалась ехать со мной. Меня это более, чем удивило. Я знаю, как она мечтала об этом, как говорила, что будет песчинки снимать с меня и смотреть за мной, как за малым ребенком.

— Что может быть лучше на свете, чем малый ребенок? Счастливый, веселый, невинный, еще не тронутый ни ложью, ни грязью нашего существования, — говорила она и глаза ее сияли.

Ее отказ опять посеял сомнения в моей душе. Что за этим кроется? Что-то мешало ей быть со мной целиком, я это чувствовал. Она провожала меня и ее взор горел такой преданностью; с такими глазами — не лгут. Озирис глядел то на меня, то на нее. Казалось, он понимал нас и хотел помочь.

— Ты верь мне; только верь и все будет по-нашему. Я все делаю, чтобы быть свободной и тогда . . . О, у меня планы.

Мрачный и недоверчивый, я уехал. Письма от нее, чудесные и благоухающие огромным чувством приходили ежедневно и лежа на пляже, под пальмами, я пил

эту радость далекого и бесконечно близкого общения, такими же жадными глотками, как и свежий океанский воздух и . . . томился.

Очень скучал по ее смеху, улыбке, шуткам, поцелуям и анекдотам, которые она любила и не очень стеснялась, их рассказывая. Когда я ее упрекал в этом, не особенно украшающем женщину, «вольнодумстве», она с улыбкой отвечала:

— Согласна, но ничего не попишешь. Полюбите нас одетыми, а голенькими нас всякий полюбит.

Я ей писал и писал очень часто и знаю, что никогда и никому не писал таких писем. Я здесь, купаюсь, загораю, отдыхаю, а она там, в душном, огромном городе.

За эти две недели моего отпуска она звонила мне три раза и всегда ночью.

— Я хочу знать, что ты делаешь и один ли ты?

— Да откуда ты знаешь, что я один?

— Очень просто: сонный голос, но зато радостный. Значит, все в порядке. У меня тоже. Помни и думай обо мне, как я о тебе. День и ночь. Обещай. Целую.

Я обещал; да, оно так и было, на самом деле.

Когда я спросил хозяина мотеля должен ли я платить за эти разговоры, он ответил,что платят там, во Флориде. Я остолбенел! Во Флориде? Опять тайна! Опять обман! Опять секрет. Конечно, она опять со своим богатым покровителем, а я, как дурак и верю и мечтаю. Я вернулся, но не искал встреч и не поехал к ней. Но она сама ворвалась ко мне в комнату, радостная и возбужденная с легким загаром на посвежевшем лице. Она бросилась ко мне.

— Ну, как отдыхалось во Флориде? — зло сказал я, отстраняя ее.

Она испуганно взглянула на меня.

— Ты знаешь? Ты узнал? Откуда?

— Это неважно, откуда. Важно, что опять был обманут. Со мной ты не поехала и сказала, что не отпускают с работы, а сама очутилась у воды, под пальмами. Мне надоела эта обстановка мелкого жульничества. Я не хочу тебя видеть. Иди к тому с кем ты загорала. Поняла? Ступай!

— Поняла, — она опустила голову и я видел, что какая-то огромная борьба происходит в ней. Мы молчали. Она повернулась и пошла к дверям. Я знал, что не верну ее. Я чувствовал себя оскорбленным. Как можно так лгать? Да и зачем?

Сидя на диване и куря свою трубку я ждал. Вдруг она стремительно повернулась, подошла ко мне и опустилась на колени, у дивана.

— Я не могу тебя потерять. Да и не заслужил ты этого. Я ведь вижу, что я тебе так же дорога, как и ты мне. Я скажу то, что скрываю от всех и изо всех сил. Я была у моря . . . с сыном!

— С сыном?! — ахнул я. — Опять начинается?

— Да, да верь мне. Ты же видел его карточку на комоде, но не спрашивал кто это. Ему уже восемнадцать лет. Я всячески скрываю от него свою профессию и он учится в дорогом колледже, в совсем другом городе. Когда у него каникулы, я две недели провожу с ним, а потом возвращаюсь, а он остается у моря. Я плачу за его обучение, воспитание и жизнь там — большие деньги, но я вижу, что это не даром. Он будет в высшей степени воспитанный и честный человек. Он не знает, что он русский и не знает русского языка. Он растет настоящим американцем. Своею поганой жизнью я дам ему человеческую жизнь. Он будет учиться на инженера по электронике. Он займет место под солнцем и никогда не будет знать какой ценой оно куплено. Своим трудом он отблагодарит свою новую родину. Она этого стоит! А

теперь, я вообще не хочу, чтобы кто-либо знал, где он и что он. Если я подчас боюсь за себя, то за него во сто раз больше. А бояться нужно. Я берегу своего Алешеньку всеми доступными мне средствами и силами. Во-первых, чтобы он никак не узнал на какие деньги он воспитывается, а во-вторых, чтобы стал тем, кем хочет. А там уж, пусть оставит меня и заведет свою семью. Это будет должным завершением моей мечты. Мечты о сыне, порядочном человеке от непорядочной матери.

— И он никогда не приезжает в Нью-Йорк?

— Никогда. Он даже не знает моего адреса и пишет мне время от времени до востребования, не вникая почему это нужно. Эти две недели, что я провожу с ним у моря, самая высшая награда за мои труды и унижение моего человеческого достоинства. Он чудный, милый, любит меня и гордится мною, потому что видит, как люди смотрят на его красивую маму, «даму из общества», как думают там все. Я горжусь им, так же, как он гордится мною. А кто я? Дрянь! Хочешь, я дам тебе прочесть его письма или спроси мою старуху, она тебе все расскажет, но молчит по моему приказу. Никто не должен знать, что у меня есть сын: только я и мать, а теперь и ты с нами, — и она положила голову мне на колени.

Конечно, я поверил и все, что она говорила подтвердилось. Бедная страдающая Липочка! Какой выдержкой надо обладать, чтобы свою огромную любовь к сыну прятать от людей и не выдавать никому, как большой грех или преступление . . .

Опять в наших отношениях наступил лад и мир.

За ее бесконечную любовь к сыну я проникся к ней еще большим уважением. Я видел, какое место занимает этот мальчик в ее жизни и понимал, что уже делила и раздваивала свое чувство между мною и им. Те-

перь, когда она могла говорить о нем открыто, она была еще более счастлива.

— Знаешь, как будто бы, какой-то запрет снят с моих уст. Теперь все мои планы и мечты связанные с ним и его судьбой, я могу обсуждать с тобой, моим близким и родным мне человеком. Двое вас у меня. Теперь ты уже знаешь все и я для тебя не «терра инкогнита», да? Я никогда не думала, что можно любить два раза. А вот, я уверена, что люблю тебя и уверена, что любила отца Алексея. Может в каждом возрасте есть любовь и в каждом разная. Не знаю. Тогда я хотела только одного — материнства, до самозабвения. Это была цель моей жизни и она родила тогда любовь к отцу Алеши. Теперь я хочу семьи, уюта, добрых, устоявшихся отношений, преданности. Одним словом «любовного бизнесса поставленного на солидный фундамент», — и смеялась блестя жемчугом своих зубов. — Ах, Никки, стоит еще жить. Еще не все потеряно, я вижу. «Планы мои планы, горе мени з вами», так кажется, говорил Шевченко? А ты согласился бы уехать со мной из Америки? В Европу, например? Я бы нашла себе там работу, сразу. Такая профессия нарасхват. Но только после того, как Алеша женится и даст понять, что я ему уже не нужна. Ведь это же удел всех родителей. О, Господи, как бы мне хотелось жить, где-нибудь в глуши, на острове; только с тобой. Так, чтобы навсегда забыть о своем прошлом и о тараканах. А главное, чтобы забыли обо мне. Забыли и не тревожили . . .

Казалось — все было безоблачно на нашем горизонте . . .

Дирекция фирмы категорически настояла на том, чтобы я поехал в Сиаттль, на авиационный завод Боинга, на три недели. Пришлось согласиться. Поехали четверо. И опять: ни писем, ни звонков. И я не мог позво-

нить, ибо она упорно не хотела устанавливать у себя телефона, боясь ненужных и навязчивых звонков от чужих и незнакомых людей.

— Надо жить потише, — твердила она, — чтобы не сглазить судьбу!

И, когда я приехал, то бросился прежде всего к ней. Дома никого не оказалось и даже собака не залаяла. Соседи ничего не знали, а если бы и знали, то ничего не сказали бы. Тут так заведено. Я вышел на улицу и стоя с чемоданом в руках думал о нелепости моего положения. Что-то случилось и никто не может мне помочь. Вдруг, я услышал отрывистый, радостный лай Озириса и увидел, как он волоча шнурок, мчался ко мне со всех ног. Прыгая вокруг, он хватал меня за рукав и тянул в сторону. Я пошел, а пес бежал впереди, оглядываясь. И вот, среди грязных и вонючих, переполненных отбросами, бочек, в растерзанном виде сидела пьяная Аполлинария Никандровна и что-то бормотала. Ни о чем ее не спрашивая, да она бы и не ответила, я поднял ее и поволок домой.

Самым трудным был подъем по лестницам. Уложив ее на кровать, я дал воды собаке, но та с жадностью накинулась на еду. На столе, в кухне, лежал конверт с моим именем. Торопясь и волнуясь, я вскрыл его. Кривым и торопливым почерком там было написано: «Несчастье, большое несчастье! Я улетаю. Старуха расскажет. Береги собаку. Целую миллион раз. Всегда с тобой. Липочка».

Вот и все. Мать храпела уткнув голову в грязную подушку, а понимающий пес смотрел на меня умными глазами. Так и не зная, что случилось в жизни Липочки, я просидел три мучительных часа, ожидая пробуждения пьяной. За эти часы я твердо понял, что ее дочь

занимает в моей жизни большое, небывалое место. Женщина подобного типа и вдруг . . .

Я налил большую рюмку виски и дал ее матери. Она начала приходить в себя. Присев у кровати так, чтобы она видела, кто говорит, я спрашивал:

— Скажите, что случилось? Где Липа? Почему она уехала? Куда?

Плохо соображая, но узнав меня, женщина процедила, вместе с пьяным дыханием:

— Алешка исчез . . . Прислал письмо . . . Ничего не знаю . . . Она ищет его . . .

И ее голова опустилась на подушку. В груди у нее клокотало и хрипело. Опять полное мое бессилие. Вот именно, сейчас, когда я ей так нужен. Моя рука, моя помощь, мое слово, мое присутствие, наконец, а она бегает где-то по учреждениям и конторам, прося и унижаясь. Пусть бы меня уволили, но я полетел бы вместе с ней, доказал бы ей, что стою ее любви ко мне и сыну . . . Но это были только слова. Беспомощный и бездеятельный, я сидел в Нью-Йорке, ходил на работу, не имея никаких вестей от нее. Оставалось только ждать. Время тянулось бесконечно медленно. Я ездил к старухе, гулял с Озирисом и он теперь целиком признавал меня за хозяина. Иногда, сидя в парке, я разговаривал с ним и он внимательно слушал, а если я произносил дороге для нас имя, он вскакивал, настораживал уши и смотрел во все стороны, но ее не было, той, которую мы ждали, и собака ложилась на землю, не отрывая от меня своего пытливого, как бы спрашивающего взгляда.

Вдруг, ночью раздался телефонный звонок и милый, родной, бесконечно родной мне голос, сказал:

— Это я, звоню с аэродрома. Могу поехать домой, могу к тебе. Как скажешь?

— О, Боже мой, конечно, ко мне!

Когда она вошла, я ее не узнал. Это была усталая, сильно постаревшая женщина. Я постелил ей на диване, она приняла ванну, выпила бокал виски и ничего не говоря, легла. Я слышал ее стоны, слышал, как она ворочалась не находя покоя, а утром, когда я встал, она еще спала, но на столе лежала записка «На работу иди. Увидимся в шесть. Как Озирис?» Стоя около дивана и глядя на это дорогое и любимое (я теперь не боюсь сказать это слово) лицо, я просто не мог поверить, что так можно было измениться. Да, это была она, но где же ее красота? Морщины у глаз и около рта, поблекшая кожа и седина, которой не было месяц назад. Что она пережила за эти дни? И все одна, не имея возможности ни с кем поделиться, спросить и посоветоваться. Все сама, со своим огромным горем. Сколько надо сил и мужества, чтобы все одолеть и выжить, ей, матери горячо любимого и единственного сына? Когда я вышел с работы, она стояла на улице. И мы поехали обедать в «Плаза», в тот ресторан, где когда-то так счастливо и весело праздновали ее день рождения. Сели за этот же столик. Сидели молчали.

— То, что ты не спрашиваешь, не бередишь мне рану, тоже одно из твоих достоинств. Ты знаешь, как мне больно говорить об этом . . .

Видно было, что у этой женщины сломлена воля и сила ее сопротивления жизненным невзгодам. Она уже выпила две рюмки крепкой настойки и продолжала молчать, нервно вертя золотое кольцо, вроде обручального.

— Я даже не знаю с чего начать.

— А ты и не рассказывай. Придет время — скажешь.

— Ведь только ты один и будешь знать настоящую правду. Знай, что у моего мальчика была уже любимая

девушка, из очень приличной семьи. Я познакомилась с ней этим летом. Я купила ему моторную лодку и мы на ней там, где он учится и живет, катались втроем. Вода это его стихия. Так вот, — она дрожащей рукой отломила кусочек хлеба, — в один, далеко не прекрасный, день родители девушки попросили его к ним приехать. Вечером он явился. Отец ушел с ним в другую комнату и показал ему письмо, адерсованное ему и фотокарточку, мою фотокарточку, такую, какие продаются в нашем «заведении». «Это ваша мать? — спросил он и не ожидая ответа дал ему эту карточку и письмо, — надеюсь, что вы оставите в покое мою дочь. И забудьте наш адрес!» Мой сын, все это взял и ушел не говоря ни слова. В тот же вечер он явился к директору школы (эти подробности я потом узнала от директора же) и заявил, что в связи с болезнью матери, он просит отпустить его на месяц домой. Ученик он примерный и на лучшем счету. Его отпустили. Когда прошел месяц из школы позвонили мне на работу, в ресторан и спросили о нем. Я пришла в ужас и вылетела туда. Там я получила от директора его вещи и письмо адресованное мне, где была та ужасная анонимка и моя фотография и еще несколько слов от сына, — она запнулась, открыла сумку и дала мне клочок бумаги, где было: «. . . такая, как ты не может быть мне матерью и у меня ее больше нет. Не ищи!» . . . Конечно, я бросилась его искать. Я не допускала самоубийства; я знаю, как он любил жизнь и, как он был счастлив все это время. С большим трудом мне удалось узнать, что какой-то юноша упорно добивался в рекрутском бюро, чтобы его приняли добровольцем в армию, ссылаясь на то, что он одинок и не имеет родителей. И след его потерялся тем более, что фамилия его не фигурировала ни в каких списках и картотеках военного ведомства. Он отказался от нее.

Вот, Никки, я и сына потеряла, а ты еще есть. А то письмо, анонимное, я сожгла, оно было такое страшное. В нем предупреждали честных родителей, что Алекс сын, прости ... — она уронила голову на стол и истерически зарыдала.

С соседних столиков смотрели на нас удивленные лица ...

Она сняла золотое кольцо и глядя на него сказала:

— Жизнь дается только раз, но если ты ее прожил на «полный ход», то и одного раза достаточно. Ник, это кольцо я носила всю жизнь, — она взяла мою руку и надевая его на мизинец, закончила, — теперь у меня в жизни остался только ты, мать не пропадет. Носи его, будем ли мы вместе или нет, но это колечко, как обручальное, напомнит тебе о Липочке и ее любви ... Бог, судьба или природа, не знаю, кто из них трех, наказали меня огромным, неисчерпаемым чувством материнства и я знаю, что при других обстоятельствах, я бы имела огромную семью и на всех у меня хватило бы любви и нежности ... И вот, теперь, все это я готова отдать тебе, а нужно ли это тебе, большому и чужому человеку, в любви которого у меня и до сих пор нет настоящей уверенности ...

Ото всех своих работ она отказалась, да и вряд ли в таком виде она была нужна там. От прежней свежести, задора и привлекательности, не осталось и следа.

Она сидела дома или грустная гуляла с Озирисом. На мои приглашения она отвечала неизменным отказом. Я чувствовал и понимал, что где-то в глубине души она еще надеялась на получение какой-нибудь весточки от сына ...

— Дай мне придти в себя, — был ответ.

И гладя умную голову собаки она говорила:

— Как он меня любит. Если бы он мог, он сказал бы об этом, но мне не надо. Настоящая любовь понятна без слов. Ведь он же глаз с меня не сводит. Он хочет меня утешить, развлечь, успокоить. Почему животные могут любить честнее, глубже, преданнее, чем люди? Ответь.

— Потому что человек венец творения.

— Разве что.

— Вот будешь со мной гулять, выходить, дышать свежим воздухом и будет легче.

— А где и чем дышет мой Алеша? — слезы текли по поблекшим щекам.

Да, вспомнил: ведь Липочка никогда не плакала. Может быть плакала теперь, ночами, когда никто не видит. Сильные натуры даже слез своих не покажут...

Она стала больше пить, тем более, что и мать поддерживала компанию. И вот так два родных человека утишали свою боль алкоголем. Я понял, что только вырвав Липочку из обстановки дома, я смогу спасти ее от окончательного падения в бездну пьянства и стал уговаривать переехать ко мне, как жену и настоящего друга. Услышав это предложение, она опустила голову и я опять увидал слезы. Теперь-то она плакала очень часто.

— Да, — сказала она, — не было бы счастья, да несчастье помогло. Разве такие, как я годятся в жены? Ни женщина, ни человек.

На мои горячие возражения она только просила прекратить разговоры на эту тему.

— Что же я могу теперь дать тебе, моему ненаглядному? Старую, с искалеченной душой, женщину, которая и любить уже не может по настоящему и другом быть не в силах. Сгорела в два счета. Я хочу уехать, проверить себя: смогу ли я опять встать на ноги или

мой переломленный хребет уже никогда не выпрямится. Так, что жди писем, не волнуйся, но звать тебя с собой при моем теперешнем состоянии — не нужно. Я эгоистка, но не настолько. Договорились? — и не дав мне ответить повесила трубку.

Этот разговор был днем, а вечером, прямо с работы, я помчался к ним, но мать сказала, что дочь уехала, а куда она, конечно, не знает. Это, как всегда. Так прошла еще одна мучительная неделя неведения. Ночью, вдруг, телефонный звонок:

— Думаю, что нас никто не подслушивает, хотя и не уверена. Не удивляйся, что я еще в Нью-Йорке. Дело в том, что мои «друзья», из того мира, который тебе чужд и даже страшен, решили найти автора письма, забравшего у меня и жизнь и сына, и все надежды связанные с ним. Поэтому и даже тем более я не хочу и не могу тебя видеть, чтобы не получилось для тебя в чужом пиру похмелье. Тут разгорятся такие страсти, что я сама не рада, но кто же меня спрашивает об этом? Целую тебя, всегда думаю, всегда ты рядом, всегда радуюсь, что ты есть на свете и, что ты мой. Я не ошиблась? .. — и опять, не дав мне сказать ни слова — повесила трубку . . .

Прошло несколько дней.

Когда я вышел в среду с работы, на улице стояла грязная и не совсем трезвая мать Липочки, а у ног ее измученный и похудевший Озирис, да еще на веревке.

— Вот и дождалась вас, а то не хотела входить в таком виде, в контору. Я знаю, что значит скомпрометировать человека в глазах общества, — и кривая, полупьяная улыбка обезобразила ее лицо.

— Что случилось?

— Меня вызывают в полицию, а я боюсь ехать одна. Вот адрес.

Мы поехали, а Озирис, сидя у моих ног, положив голову мне на колено, взглядом, как будто спрашивал меня о чем-то.

Дорогой мать рассказала, что два дня тому назад собака вдруг вскочила, это было ночью, и завыла так страшно, так безнадежно, что пришлось набросить на нее одеяло, чтобы она не подняла на ноги весь дом. С той ночи Озирис ничего не ест, а только пьет воду и пытается выскочить из квартиры.

— Я уверена, что с дочерью что-то случилось. Собака не ошибается в своих предчувствиях. Она более чуткая, чем мы.

Я молчал. Да, теперь был уверен и я. Когда мы приехали по данному адресу, то это оказался главный морг нью-йоркской полиции. Все стало ясно. Нам объяснили. что тело этой женщины нашли в Гудзоне, напротив 108 улицы. Оно было повреждено о камни.

Мы подтвердили, что знаем кто это и нам было разрешено взять Липочку для погребения.



Несколько раз в году я посещаю кладбище, где она похоронена, а ежегодно пятнадцатого декабря, я и Озирис (он живет у меня) едем туда с цветами и собака сразу же ложится у могильной плиты, положив голову на черный камень. Я сижу на соседнем памятнике и курю свою неизменную трубку.

На равнодушном холоде мрамора высечено золотыми буквами только одно слово:

«ЛИПОЧКА»

И в этом имени для меня все!



Под знойным небом...

— Аргентины! — воскликнет догадливый читатель и... ошибется.

Разговор будет идти о Мексике, таинственной стране, прошлое которой уходит глубоко в века и до сих пор не исследовано до конца, а если наш скромный труд приоткроет завесу над многим, пусть читатель будет благодарен нам, но мы на этом не настаиваем. Мы скромные.

1. ИСКУСИТЕЛЬ

Когда у Гриши Ардова, что-нибудь на уме, то он не смотрит в лицо собеседнику и как-то странно улыбается. О, я его изучил хорошо и знаю его повадки. Так было и на этот раз. Войдя в квартиру, он, независимо посвистывая, начал осматривать мебель и фотографии моих друзей. Перед своей он даже причмокивал. Удивительно скверный вкус у человека.

— Гриша, — сказал я, — не крутите пуговицы. Что у вас на душе?

Тогда он быстренько уселся около меня и сказал в сторону:

— Никого дома?

— Нет, выкладывайте.

— Ф-фу, устал. Все надоело, все. Вырваться бы куда-нибудь «на простор речной волны», подышать, проветриться, освежиться.

— Ну, вот и поезжайте на Аляску. Там же воздух, как озон.

— Бросьте, Костич, свои штучки. Теперь надо в противоположную сторону кидаться. В экзотику, на юг, прогреть косточки, подзагореть, поплескаться в теплых водах, омыть грешные телеса в океанах, половить руками рыбку «пирану» . . .

— Гриша, куда вы клоните?

И тут Ардов зашептал, оглядываясь:

— В Мексику, дорогой, вот куда я клоню. Я достал проспект пароходной компании. Смотрите, — он положил яркую книжицу на стол, — четырнадцать сказочных дней на роскошном океанском пароходе, точная копия «Квин-Мэри», только значительно меньше и хуже, но на всем готовом. Он же и наш отель, когда мы сходим на берег. Все удовольствие от Лос-Анжелоса до Акапулько всего четыреста пятьдесят долларов на двоих, с каютой, со всеми удобствами, питанием, бассейном, кино, библиотекой, баром . . .

— Вы говорили с женой?

— Да, я объяснил ей, что качать начинает сразу же, при покупке билета и так до возвращения обратно. Сказал, что в Мексике жара от ста десяти до ста пятнадцати. Потом пояснил ей, что если выпить там воды или молока — холера обеспечена. Все рассказал, ничего не скрыл.

— Ну и что она?

Она говорит, что у меня есть один сумасшедший партнер, с которым и надо ехать за холерой, а она побудет с внуками.

— Умница. А бар тоже входит в эту сумму?

— Нет, бар отдельно. Но можно и не пить или же взять с собой по бутылке на брата. Главное: мексиканский фольклор, песни, музыка, научные изыскания, яркость красок, нарядов и взглядов. А вечные снега Сиерра-Мадре, а бессмертная культура инков и атцеков, а тысячелетние храмы, а бои быков, а истуканы из чистого золота, а нравы и обычаи одного из музыкальнейших народов мира . . . Все ново, все интересно . . .

— Довольно Гриша, довольно. Я вижу, что вы подготовились идучи ко мне.

Одним словом, он уговорил меня.

— Пожмите мою руку, — сказал Гриша, — я знаю, Костич, что вы человек идеи и если она даже не ваша, то вы проникаетесь уважением к ней и сами начинаете думать, как ваш культурный и вдумчивый собеседник. На какой день будем заказывать билеты?

— Мне все равно, — ответил я, — но лучше в августе.

— Чудно. Тогда, значит, я верно сделал: уже приготовил два места на самолет, на начало августа.

— Как самолет? Вы же расписывали поездку «по бурным волнам океана».

— Совершенно верно, но это отпадает. Дело в том, что это же чудаки — пароходная компания — делают рейсы с декабря по апрель. Ну, не йолды? Правда, можно взять билеты на махину, делающую кругосветное путешествие с заходом в Акапулько. Но фокус в том, что обратно эта баржа будет только через месяц. Конечно, можно автобусом, тоже увидим много интересного, но и утомительно, и тесно. Сиди, как прикованный к креслу, вы ж понимает . . . Костич, я уверен, что вы не будете сердиться, но я уже заказал билеты в оба конца. Это дает нам много преимуществ: дешевле и не

надо думать об обратных билетах. Кроме того, если мы целиком поручим себя бюро путешествий, то это будут: отели, все виды транспорта (включая ослов) и наиболее интересные экскурсии. Нам не надо ни о чем думать. Только платить. Согласитесь, что это самое легкое. Удобно? А так как мы все оплатим здесь, то там нам достанутся только карманные расходы вроде чаевых, покупка сувениров и разные непредвиденные . . .

Таким образом мы твердо решили лететь. В самолете подкармливают, дают прекрасный ужин и хорошие полстакана виски и это только на отрезке между Сеатлем и Лос-Анжелосом. Два часа пути. Назначение виски? Придать бодрости и увеличить дозу оптимизма. Нам, например, при посадке, хорошенькая стюардесса пояснила:

— Наша авиационная компания по числу катастроф стоит на почетном месте. В год у нас их всего две и они уже были на прошлой неделе и как раз на этом маршруте. Спите спокойно.

Настроение сразу улучшилось . . . Самолет ракетный. Это значит — без пропеллеров, на реактивных двигателях. С моей точки зрения идеальная машина, но вот если бы она не поднималась в облака, а катила бы себе, удалив для удобства крылья, ей-Богу было бы лучше. Но разве на всех угодишь? Я лично предпочитаю поезд. Стучат колеса, попахивает жареной картошечкой из вагона-ресторана. Покачивает. Спишь и едешь, как у Христа за пазухой.

«Оглянуться не успела, как зима катит в глаза».

А в нашем бы случае это прозвучало:

Оглянуться не успели, как земля катит в глаза!

Уже. Приземлились. Лос-Анжелос. Пересадка. Пассажиры, которые в дороге заправились полустаканами, игриво подхватывают чужих жен и галантно ведут их

к другому самолету, а убежденные трезвенники (Гриша выпил мою порцию) угрюмо плетутся позади. Бодрый голос Ардова звучал где-то впереди, раскатисто и громко, как позывные с другой планеты. В Акапулько летим все время над водой и это многих пугает, потому что, если над землей, то в случае чего можно выпрыгнуть, а что будешь тут делать? Конечно, они правы. Поэтому настроение было несколько подавленное.

2. ОМОЛОЖЕНИЕ

Вот оно (или он) хваленное Акапулько. Название мне нравится. Оно какое-то круглое, аппетитное. Приятное на слух. Здесь неописуемо красиво и даже очень. Небо голубое-голубое, а океан синий-пресиний. Кругом зелень пышная, роскошная, густая, покрывающая холмы живописно и с большим вкусом. Океан, соблюдая чувство меры, шумит однообразно и успокаивающе. Сразу же забываешь о возрасте и расходах. А песок такой мягкий и теплый и так заманчив и привлекателен, что хочется растянуться в костюме (в купальном, конечно) и закрыв глаза предаться мечтам о том, чего уже не будет и что никогда не вернется. Надеюсь, вы меня понимаете, читатель? Вы чуткий! . . Когда мечты начинают распалять воображение, турист бросается в гостеприимные волны Тихого океана и сразу же приходит в себя.

Наше стадо вечно в движении. Еще не просохли, а надо усаживаться и ехать дальше. Конечно, вы можете и не ехать, но деньги-то уже уплачены. Да еще в долларах. Сразу трезвеешь. На этот раз мы едем в Мексико-Сити.

По дороге нам обещали показать что-то интересное. Оно по-мексикански называется Икстапан — маленький провинциальный городок. А знаменит он, как говорят и пишут, необычайными минеральными водами, которые в два счета восстанавливают силы и возвращают молодость. Вы понимаете, чем это пахнет?

Этот замухрышка-городок действительно и гроша ломаного не стоит, но вот отель и курзал минеральных вод — это я вам доложу построечка! Оба они выложены кафельными плитками, но не простыми, а изображающими сцены из далекого мексиканского прошлого. Может быть так и не было, но кто же будет проверять? Главное, что очень красиво. Из прочитанной брошюры мы выяснили, что ревматизм, высокое давление и артрит не выдерживают встречи с целебной водой и улетучиваются. Кабинки, как пробирки: чистые, красивые и тоже с мифологией на стенах и потолке. Гриша заявил, что в интересах науки мы должны проверить достоверность рекламы, принять ванны или выкупаться в первоисточнике. Так и сказал, ей-Богу!

Выбор: комната для двоих с полным питанием и купанием тридцать долларов в сутки. Это, знаете, совсем уже не дешевка и пахнет чистейшей инфляцией. Правда, в городке это будет стоить наполовину дешевле. Но — живем раз и поэтому мы решили не скупиться и сняли комнату в десяти кварталах от отеля. Нечего их поощрять. Зазнаются. Вокруг отеля и курзала фонтаны и все красивые и все журчат. Удивительно умиротворяюще. Мы взяли красивую отдельную комнату, с большой круглой ванной, в которой неистово бурлила вода (помните «Нарзан» в Кисловодске?). Цена этого удовольствия два доллара в час, и тут же рядом с ценой висит серьезное предупреждение о том, что вода настолько насыщена, что купаться в ней более пятнад-

цати минут опасно для здоровья. Да, держите карман шире. Так и поверили. Нашли дураков. Мы залезли в эту «нир-ванну» и наслаждались там до обалдения, в буквальном смысле слова. Это выяснилось только тогда, когда мы оделись: мы перепутали наши брюки.

На другой день мы решили купаться в бассейне. Около отеля их пять и все тоже в израсцах, а вокруг пышная тропическая растительность. Ища целебных средств для своих изношенных дипийских организмов, мы полезли в специальный с горячей водой, которая беспрерывно «кипит». Со дна бассейна ведет специальная лестница, по которой вы сможете подняться на поверхность, если хватит силы. В противном случае вас вытащат специалисты этого дела . . .

Расплатившись и поплатившись мы поехали в Мексико-Сити, но у доктора, который живет недалеко от курзала мы проверили свое здоровье. Узнав, что мы имеем (но это врачебная тайна) и артрит и высокое давление и подгулявшие мышцы, он сказал, что мы оба очень восприимчивы к лечению и все вышеуказанное убыло наполовину. Если мы в будущем году приедем опять, то остальное, — как рукой снимет.

— Ну, — сказал Гриша выходя, — видели? Ведь он нас совершенно не знает и не заинтересован. Какой диагностик!

Я посмотрел на Ардова, но он успел отвернуться.

3. ВОКРУГ ДА ОКОЛО

Кто бы мог подумать? Какая-то Мексика и вдруг город с населением более пяти миллионов. Если бы он был расположен где нибудь на побережье и, как Нью-Йорк или, скажем, Токио, то куда ни шло, а то ведь за-

брался куда-то на гору и находится на высоте более чем семь тысяч футов над уровнем моря, а народ к нему так и льнет.

Город этот очень красив и даст сто очков вперед многим столицам мира. Кто был на Елисейских Полях в Париже тот может сравнить ее с главной улицей Мексико-Сити, а я не могу. Она утопает в зелени, широченная и на ней много роскошных ресторанов, огромных магазинов и зданий высотой в тридцать и более этажей. Кто увидит этот город воочию, тот долго будет его помнить, и дело, конечно, не в магазинах и ресторанах, а в красоте Мексико-Сити.

Я вспомнил совет бывалых людей: «В Мексике надо торговаться. Это вам не Америка. Даже беря такси. Один берет вас и у него на счетчике стоит восемь пезо при посадке, а другой едет и показывает вам палец. Это значит, что он может вас подвезти куда вам нужно за одно только пезо. Правда, в машине уже сидят шестеро, но вас (особенно, если вы дама) галантно усадят на колени и буквально за гроши вы будете у цели. Вообще, транспорт в Мексике баснословно дешев. Хотите пример? Пожалуйста. За часовую поездку по городу вы уплатите на наши деньги не более пяти центов. Ну?»

Центральная улица города украшена памятниками, фонтанами, скверами и очень красивыми зданиями. Она просто прекрасна. Многие ли центральные улицы так украшены? Сомневаюсь. Товары в магазинах, цены в ресторанах тоже совсем не волнуют. А тут еще есть возможность поторговаться. Согласитесь, что для туриста это очень заманчиво и приехав домой, он, подсчитав свои расходы увидит, что выторговал в поте лица от трех до пяти долларов. Значит, если сделать десять поездок в Мексику это даст полсотни. А это уже сумма. Говорят: нашла коса на камень. И это правда. У

мексиканцев глаз наметанный и они узнают нашего брата с налета, и норовят, конечно, сорвать, а мы, зная их повадки, отстаиваем свои интересы.

Но Гриша в этих вопросах «дока». Предлагают, например, красивые дамские сандалеты, или блюдо, или платье, или ковер, или статуэтку и запрашивают втридорога и другой, неопытный, переплачивает.

— Надо походить, — говорит Гриша, — посмотреть и мы найдем лучшую вещь и дешевле.

Когда я хотел купить вырезанного из дерева Дон-Кихота, высотою более фута и неплохо сделанного и за него «запросили» доллар, Гриша возмутился:

— Не берите. Вот, пройдемся по этой главной магистрали, не надо по всей, хотя бы полпути, и купим своим близким подарки.

Бедняга не знал, что главная улица тянется всего на тридцать миль. Я узнал об этом потом, когда Ардов втискивал меня в такси, чтобы добраться до нашего отеля, за любую цену, не ожидая пальца.

Я помню, в России на вокзалах, висели большие объявления: «Не пейте сырой воды». Тут они не висят, но всех приезжих предупреждают ее не пить и не пить молока. Предупреждение очень обоснованное, ибо наши желудки почему-то к этим вещам здесь, в Мексике, враждебно настроены. Впрочем, если европейца накормить мексиканским «чили», сдобренным дьявольской смесью красного перца, «Табаско» и других острых и коварных соусов и подливок, то тот, посаженный в ванну, купаясь может выпить все ее содержимое и выйти сухим из воды. Хотя в наши дни, этим никого не удивишь.

Если верить слухам, то Мексико-Сити построен на болоте. Подобная же история повторилась с нашим милым Петроградом, но он стоит незыблемо и вечно. А

вот со столицей Мексики не все благополучно: наибольшая святыня страны — Гвадалупский храм — оседает. Здание огромное, колоссальной тяжести, и в нем уже много опасных и довольно крупных трещин. Об этом все знают и это очень беспокоит мексиканское правительство и народ. Кафедральный собор, который в течение дня посещают тысячи религиозно настроенных людей, под угрозой. Когда мы были около него, то с тыльной стороны работала группа специалистов, размечавшая каждый камень, каждую деталь. Делалось это с целью, чтобы все огромное здание разобрать «по винтику, по кирпичику» и потом перенести по деталям в другое место. Это сизифов труд, но все твердо верят, что так надо и Божья Матерь поможет, чтобы ее храм был восстановлен в прежнем величии. Подойдя к группе инженеров, стоявших с чертежами в руках, Гриша дал им несколько дельных указаний. Я потом спросил его:

— Разве вы в этом разбираетесь?

— Я не люблю хвастать, Костич. Я же таким способом перенес свой гараж.

Уже дома, роясь в своем архиве, я нашел в старой газете небольшую заметку без подписи, из которой приведу для читателя интересные места. Вот они: «...революция, разорив почти все монастыри, разграбив многие, многие церкви, уничтожив величайшие ценности искусства, несмотря на всю свою разрушительную силу не могла разрушить веру, наполнявшую эти храмы. Мексика, страна, где запрещены монастыри, где священники и монахи не имеют права ходить в одеждах духовных лиц, самая религиозная и самая горячая в своей вере страна, какую я когда-либо видел. К Богородице Гвадалупской (самая большая святыня Мексики) идут паломники из деревень, лежащих за 150-200 километров, пешком, с детьми на руках и за плечами,

идут часто сопровождаемые автомобилями скорой помощи, так как многие падают и умирают, идут дни и ночи, чтобы войдя в храм или уже на площади опустясь на колени, ползти к храму и через храм к алтарю. В храме этом такой экстаз, что даже неверующий, случайно туда попавший, падает на колени и молится, как никогда не молился. Церкви в Мексике залиты светом свечей и наполнены цветами. В одной церкви поет мужской хор, сильными кричащими голосами, а в другой — поблизости, — женский — ангельскими. В 15 минутах езды от города Пуэбла есть городок Чолула. Там нет и тысячи жителей, но триста шестьдесят храмов. Храм на каждый день в году. Видели и женский монастырь св. Моники. Монахиням удалось спрятать его с храмом внутри города. Он был закамуфлирован под жилой дом и монахини никогда не выходили оттуда, там же внутри умирали и там же их хоронили. Монастырь обнаружили, закрыли, превратили в музей, а монахини и по сей день живут в домах своих родственников».

Гвадалупский собор описать нельзя — его надо видеть. Из литературы мы узнали, что за храмом и его святыней, изображением Божией Матери, числится много случаев исцеления больных. Тишина в соборе, наполненном сотнями людей, и искренне молитвенное настроение не идет ни в какое сравнение с нашими церквами.

У главного входа в храм играли духовые оркестры. Что это? Оказывается, что целые группы католиков из окрестностей и других городов приезжают автобусами (дух времени) в Мексико-Сити для того, чтобы склонить свои колени перед высокочтимым образом. Они ползут на коленях по ступенькам храма, подчас раздирая себе кожу до крови. Оркестры под названием «марьячи» (потому что они играют на свадьбах), как

видно придают бодрости богомольцам. Репертуар лежит целиком на совести капельмейстеров.

Глядя на эти толпы искренно до слез и крови верующих людей, ежедневно наполняющих свои храмы, я вспомнил чье-то меткое выражение: «А почему мы, русские, говорим шесть раз в неделю 'Подай Господи' и только один раз 'Тебе Господи'»?

Мы американцы, подчас очень горды своими университетами, их местоположением, постройками, садами, уютом и красотой. Но это же Америка, друзья. А вот в Мексико-Сити есть университет, основанный всего-навсего четыреста лет тому назад. Посмотрите на его здания, библиотеку, спортивный зал, огромнейший бассейн для плавания и весь его университетский комплекс и вы, несмотря на жару, снимаете шляпу и скажете:

— Это я понимаю. Вот тебе и захудалая Мексика.

Почему-то Гриша стал ко мне приставать с необходимостью посетить город Гвадалахару. На мои настойчивые расспросы он отмалчивался, но наконец его прорвало:

— Если вы хотите знать, то это красивейший город в Мексике. Там есть озеро, университет, горы, виды . . .

— Мистер Ардов, — сказал я строго, — и озера, и университеты не причина. Мы их видели достаточно. Раскройте свои карты и . . .

— Ну, хорошо, там завод, где делают «текилу».

— Текилу? Мы эту водку можем выпить в любом ресторане. Дальше что?

Он смущенно протянул мне рекламную брошюру. На обложке была изображена изумительно красивая женщина в национальном наряде, а внутри (брошюры, конечно) пояснялось, что Гвадалахара славится, как город самых красивых и изящных женщин в мире. Нечто по-

добное я читал о каком-то округе в Югославии. Туристы туда валом валят. А здесь (поясняет книжица) когда-то, французская армия потерпела поражение от мексиканцев и масса военных осела в окрестностях. Они создали этот тип женщины, который был изображен на обложке.

Я пристыдил Гришу и мы не поехали, а брошюру я храню под рукой в письменном столе.

Обещав кому-то навестить какую-то даму, Гриша потащил меня к ней.

Слухи о том, что выходцы из Америки живут в Мексике как диктаторы, подтвердились. У этой дамы домик, а сзади садик с фонтаном. Утром, встав, она идет и смотрит на работу садовника, потом отправляется в кухню, где наблюдает за поваром, приготовляющим завтрак, который ей подает дворецкий, одетый как подобает слуге у американского пенсионера. После «ланча» шофер подает машину и она едет кататься. Правда, все эти четыре должности совмещаются в одном человеке, но факт остается фактом. «Все» ее служащие очень дорожат своими местами и преданы своей повелительнице до последнего (ее) доллара, а их она регулярно и пожизненно получает от дяди Сама. Ну, разве это не жизнь? Я уверен, что многие неуверенные диктаторы с удовольствием поменялись бы со старушкой местами. Но пошла ли бы она на эту комбинацию?

Ехать к пирамидам Теотихуакан мы не собирались и в договоре с бюро этого маршрута не было, но Ардов сказал так:

— Костич, вы помните, что в Египте сказал Наполеон своей армии: «Солдаты, сорок веков смотрят на вас с высоты этих пирамид». Это так воодушевило их, что победы, потом, следовали за победами. Роммель тоже,

в Африке, пытался пуститься на этот трюк. В Египет нам не попасть. Слишком уж зазнался там Нассер.

— Окей, где наша не пропадала.

Мы поехали. Набралась группа человек в пятьдесят. У Гриши в руках был какой-то таинственный сверток. На мои вопросы он отмалчивался. Поездка заняла не более четырех часов и дорога была чудесной. Красивая и совсем не утомительная.

Как нам объяснили, пирамиды называются Солнечная и Лунная, а между ними есть специальный подземный ход с заманчивым для туристов названием: «Дорога мертвых». Пирамидам более трех тысяч лет, но и до сих пор ученые копаются в них, изучая и стараясь найти что-то общее между пирамидами Египта и Мексики.

Вы себе представляете сколько денег было ухлопано за эти тысячи лет на этих книжных червей?

Провели мы там несколько часов. Энтузиасты делали попытки подняться по ступенькам к вершине Солнечной пирамиды и сфотографироваться, конечно. Не знаю, удалось ли им это, но мы с Гришей не пытались. Какой дурак будет в такую адскую жару карабкаться по камням и платить за эти пытки своими долларами?

Мы сделали более интересное, научное, открытие: среди скал в уютном, а главное прохладном гроте находится ресторан, где мы и просидели все время, потягивая такилу и закусывая хорошо поджаренным мясом. Когда раздался сигнал к отъезду, мы вышли и были очень довольны всем виденным.

Но вот, когда все уселись, обнаружилось, что Ардов исчез. Боясь несчастья, мы бросились его искать и что же я вижу? Пользуясь тем, что у задней стены пирамиды никого нет, Гриша заканчивал на камнях (вот он сверток-то) славянской вязью: «Неправда, что 'была без

радости любовь, разлука будет без печали'. Была любовь и тяжела разлука . . . Прощай Мекс . . .»

— Григорий, как тебе не стыдно?! — крикнул я. — Памятники старины нужно беречь!

Я забрал у него позорящие нас кисть и краску и поставил на пирамидах наши имена . . . Пусть ведают потомки православных . . .

Для полноты картины мы сфотографировались на осликах. Кстати, этот вид транспорта дороже автомобильного. На нас были цветные сомбреро и яркие одеяла, с прорезами для головы. При Гришиных усиках, опускающихся кончиками вниз, если бы его перепоясать патронными лентами и дать в руки берданку, то он вполне бы сошел за потомка Панчо Виллы. У меня вид был значительно интеллигентнее.

Эту фотографию Гриша решил отправить домой и попросил меня бросить письмо в ящик, когда я буду на улице. Так как конверт был еще недостаточно крепко заклеен, то я решил полюбоваться собою еще раз. И представьте себе, что на обороте фотокарточки была надпись: «Это мы на ослах. Слева Костич. Он сверху». Я поэтому приписал: «под Гришей осел, но особой разницы не вижу». Потирая руки, я заклеил конверт и даже послал его воздушной почтой.

4. РЕДКАЯ ПОКУПКА

Вернувшись в Мексико-Сити (это тот Рим, к которому ведут все дороги), мы нацелились на городок Таско, который, как говорят, ничем не замечателен, кроме . . . Вот это злополучное «кроме», всегда заставляло нас куда-то лезть, что-то смотреть и чем-то интересоваться. В этом городе выделывают серебряные изделия:

блюда, бокалы, чаши, кофейники, пепельницы, подносы и всякое такое, что может сойти за сувенир и соблазняет туриста. А не соблазниться невозможно. К концу дня все туристы напоминают хороших носильщиков согбенных от переполненных чемоданов. Одни накупили подарков и близким и дальним, а другие, «более» бескорыстные, рассчитывают кое-что продать и хотя бы частично окупить свои расходы.

Вещи здесь поистине чудесные, да и не так уж дороги на наши деньги.

Городок стоит в плену у зеленых холмов, покрытых богатой растительностью. Чтобы чем-нибудь отличаться от Мексико-Сити, Таско имеет настолько узкие улицы, что двум автомобилям там не разъехаться; зато козы, овцы и куры ходят по ним, как полноправные хозяева.

Гриша в восторге от чудесных покупок и приобретений, потирал руки, когда они были свободны. Усталые и потные, мы брели к месту сборов туристов, как вдруг к нам подошел мексиканец и, оглянувшись по сторонам, прошептал по-английски:

— Синьоры покупают вещи и проходят мимо сокровищ.

— Что вы хотите сказать? — спросил насторожившись Гриша.

— Я не хочу сказать, а я говорю, что вы покупаете то, что все покупают и то, чем завалены магазины, но есть вещи, которым нет цены, но джентльмены их не видели и так и уедут.

— Вы что-то имеете?

— Да, — сказал печально наш собеседник, — но это у меня дома и я не могу это выносить на улицу.

Что долго размазывать? Он помог нам дотащить наши чемоданы до автобуса, а потом мы спешно пошли к нему домой. По пути он все время оглядывался.

— Чего вы боитесь? — спросил я.

— Я не хочу, чтобы соседи видели, что вы идете ко мне. Это есть только у меня.

Мы переглянулись. Дух авантюризма срезу же проснулся в Ардове.

— Не бойтесь, мы вас не выдадим.

Мы юркнули в какие-то двери, спустились в подвал, где хозяин зажег керосиновую лампу и открыл старый, скрипевший сундук. Пахнуло нафталином и чем-то залежалым. Шурша бумагой, он развернул и разложил на большом столе не то платок, не то скатерть. Со слезами умиления, он сказал:

— Платок этот родовой. Он передается из рода в род. Это ручная работа и ему более ста лет. Красоты и крепости он изумительной. Его не носят — его показывают друзьям и знакомым. На нем вся история нашей страны. Эту редкость и ценность может заставить продать только большая нужда или большая дружба... Если бы не вы и не болезнь жены, я бы... — и он отвернулся, стыдясь своего волнения.

Платок изображал собою карту Мексики. На нем были названия городов, рек, гор и даже этого городка, в котором мы сейчас стояли.

— Это делалось нашими бабушками при свечах, руками. Таких платков теперь и не носят и не продают. Может быть вы их видели в музеях только, — и хозяин ласково и любовно погладил ярко-желтую ткань.

Выглядел платок, несмотря на его давность, на редкость ярко и нарядно. Его можно было повесить в гостиной или кабинете... на зависть друзьям и знакомым.

— Если даже вы его купите, — то и вынести вы его должны так, чтобы они ничего не видели.

— Сколько? — хрипло спросил Гриша.

— Почему вы? — взволнованно вмешался я. — Я тоже могу спросить «сколько?»

— Вы можете, но согласитесь, Костич, что этой поездкой вы обязаны мне и у меня право «первой ночи».

Ардов всегда ввернет такое словечко, что возражать невозможно. Хозяин назвал цифру. Она была убедительна, даже на наши деньги, но такие случаи бывают раз в жизни, да и то не у всех.

— Я беру, — отрубил Гриша. — Как вынести?

— Синьор, — ответил владалец платка, — я не хочу делать никакого свертка. Жена никогда не позволит продать эту семейную драгоценность, а она может стоять на улице. Будет скандал. Вы знаете темперамент наших женщин?

— Нет еще, — откровенно признался Ардов.

Тогда у меня появилась блестящая идея. Увидев валявшихся в подвале сомбреро и одеяла с прорезями для головы (типичный для мексиканцев наряд) я воскликнул:

— Гриша, купим это за бесценок и выйдем. Мы сольемся с окружающей обстановкой и этот камуфляж охранит нас от всяких неприятностей.

«Бесценка» не получилось, но все же не так уж это и дорого обошлось.

Тогда мексиканец — он назвал себя Спиди Гонзалес — предложил еще одну вещь:

— Если синьор обмотает себя платком под пиджаком, то тогда опасности совсем не будет. В руках у вас ничего нет.

Идея эта нам понравилась и, раздев Гришу до нага, мы, тщательно разгладив все складочки, обмотали плат-

ком его великолепный торс. От платка остались свободными руки и ноги. Края скрепили английскими булавками. Упаковка была замечательная. Расплатившись мы вышли, независимо насвистывая «Челиту». Для создания полной иллюзии Гонзалес, выпроводив нас на улицу, кричал нам вслед всяческие оскорбления и пожелания в международном духе. В глазах его соседей он был целиком реабилитирован, а мы поплелись, как неудачники американцы, всегда осыпаемые насмешками за свое желание оказать помощь ближним. Таков уж наш удел . . . Женщина стоявшая у дома, осмотрела нас с головы до ног, но мы были неузнаваемы. Когда же мы подошли к автобусу нас не хотели впускать. Ведь мы опоздали на полчаса. Пусть ругают. О если б они только знали правду!

Приехав в Мексико-Сити мы, довольные проведенным днем завалились спать. Я в пижаме, а Гриша в платке. Засыпая, он успел сказать:

-- У меня уже голова распухла от тех знаний и впечатлений, какие я приобрел за эти дни.

— Что за этим следует?

— А то и следует, что нам надо встряхнуться и иметь «гуд-тайм». Андэстэнд?

5. МУЧАЧА

Есть предвзятое мнение, что южные американцы ленивы. Оно ошибочно. Встав утром, не спеша, мексиканец готовится начать трудовой день и приступить к работе и пока он решит — какую работу начать и когда, то начинается «сиеста» и — «фиеста», а потом наступает такая жара, что работать просто безумие. Появляются планы на «маньяну» (завтра) и это несколько

уменьшает неудачу прошедшего дня. Такая борьба между совестью и долгом длится неделю и только в воскресенье находит он время преклонить колена в костеле и поблагодарить Святую Деву за благополучно прожитый отрезок времени. С понедельника борьба добра со злом возобновляется. Как у него при такой ситуации еще хватает времени на песни и танцы — не понимаю.

Звучит все это правдоподобно, но когда читатель увидит великолепные города с парками, садами и фонтанами, величественные, необыкновенной красоты здания, прекрасно оборудованные курорты, ковры и серебряные изделия и резьбу по дереву необычайно тонкой работы, мозаичные картины Диего Ривера, Дворец Искусств, замок Кортеца, Исторический Музей, старинные храмы, современные постройки и прославленный на весь мир национальный балет, да еще заглянет в прошлое этой страны, то он несколько усомнится в лености мексиканцев. У лентяев так не бывает.

Так как почти все было оплачено нами заранее, то мы пошли смотреть Мексиканский Нацинальный Балет. Все прекрасно, все красочно, эффектно и талантливо. Все танцы уходят корнями в далекое прошлое этой страны. Декорации и костюмы буквально сказочны, но это мы видели с Гришей в Америке, когда балет гастролировал у нас.

После спектакля мы взяли такси и ездили по городу во всех направлениях. Шофер останавливал машину и объяснял наиболее красивое и значительное. Мы согласно кивали головами, ничего не понимая. Как он ни старался, но больше доллара наездить не смог. Уж очень дешев там транспорт. Прощаясь, у отеля, мы, как Ротшильды, дали ему (оба) двадцать пять центов. Пусть вспоминает щедрых русских путешественников.

На другой день нас повезли в Хочимилко. У мексиканцев это — Венеция и очень не плохая.

Огромный красивый парк, расположенный в трех милях от Мексико-Сити прорезывается в разных направлениях каналами и по ним скользят гондолы. Они разных размеров, разукрашены цветами и помимо гондольеров сопровождаются музыкантами. Есть гондолы на двух, а есть и человек на двадцать. На них столы, навес и на корме — оркестр. Я бы такое сооружение назвал «гондобус». Туристы заправляются пивом, вином и всяческими закусками, запасенными заранее. Оркестр услаждает их слух, а они объедаются запивая текилой. Романтики мало, но в этом парке значительно прохладнее, чем в столице. Под веслами журчит вода, чудесные мелодии плывут в горячем воздухе. Все-таки хорошо.

Чтобы нам не мешали и не надоедали разговорами, мы взяли двухместную гондолу с двумя гребцами (они же и музыканты) и, плавно покачиваясь, поплыли среди аромата цветов и солнечных бликов на воде и зелени. Гитарные переборы, нежный женский смех и звучные романсы, слышимые со всех сторон, расположили нас на сентиментальный лад. Лежа на коврах мы мечтали.

— О чем вы думаете, Гриша?

— Почему нельзя, чтобы жизнь была всегда такой?

— А кто же будет работать?

— Другие . . .

Мексиканская музыка и песни очень мелодичны и красивы, а в такой атмосфере они нас совсем пленили . . . .

Но, как известно, в каждой бочке есть ложка дегтя. Так и тут.

Другая гондола, наполненная одеялами, соломенными шляпами, побрякушками и безделушками, на которые так падки туристы, с двумя назойливыми торговцами, почему-то облюбовала нас и, идя бортом к борту, они начали в два голоса расхваливать свои товары. Они заглушали не только наших музыкантов, но даже оркестры на проходивших мимо лодках. Чтобы отвязаться, мы взяли еще два одеяла, одно сомбреро и стеклянный кувшин.

— Гриша, как вы думаете — почему они выбрали именно нас?

— А потому, что вы всем своим видом показывали, что вы на седьмом небе от воздуха, солнца, музыки и песен.

Когда мы пристали к берегу и к нам никто не приставал, Гриша, перекинув одеяло через плечо и нахлобучив широченную шляпу, сказал:

— Костич, вы посидите, а я пойду проветрюсь, — и зашагал вглубь парка.

Расстелив одеяло у воды, нахлобучив сомбреро на нос, и подложив дурацкий кувшин под голову, я прилег. Я не знаю сколько я грезил, — а я люблю такой вид продуктивной деятельности — но меня разбудил испуганный голос Ардова. Дальнейшее расскажу его словами, грустными, печальными.

Он пошел в глубину парка, чтобы немного побыть со своими мыслями. Он тосковал о прошлом, о молодости, о веселой жизни . . . и вдруг! . . . — Шагая по какой-то тропинке, он слышал музыку и на эти-то звуки он и вышел на большую полянку, где увидел четырех музыкантов и группу иностранных туристов. И еще . . . Под деревом стояла юная «мучача». По-видимому, она толь-

ко что окончила народный танец для чуземеных гостей и подбрасывала на руках несколько крупных серебряных монет; грудь ее вызывающе вздымалась. Цветок в волосах, крикливое живописное платье, рельефно облегающее ее тонкую фигуру, огромные серьги и такое же декольте, были замечены Гришей. Она тоже увидела его и не сводила завораживающего взгляда со знатного путешественника. Знойная, волнующая музыка вновь зазвучала в горячем воздухе парка. Как загипнотизированный двигался Ардов к ней, не сводя с нее глаз. С каждым его шагом вырез платья на ее груди становился все ближе, все больше, все привлекательнее. Он даже успел заметить родинку, нежно притаившуюся в надлежащем месте.

— Как вас зовут? — глядя на танцовщицу горячим взором спросил Гриша.

— Пальцем, — ответила она пламенея.

— Нет, как ваше имя? — зажигаясь прохрипел Ардов.

— Пезета, — запылала она.

— Недорого, — вспыхнул мой друг.

Не знаю, как долго продолжался бы этот огнеопасный разговор, но музыканты, отдавая дань времени и шагая в ногу с эпохой, заиграли вальс. Звуки «Сказок Венского леса» плавно поплыли над его мексиканским собратом. Кавалеры, обхватив своих дам за талии, закружились на утоптанной площадке. Хотя «оркестр» и фальшивил, но в этой обстановке, в лесу, под сияющим солнцем и на свежем воздухе, все было так чудесно и так гармонировало с создавшимся у всех настроением, что никто ничего не замечал. Особенно Григорий. Он видел только ее. В глубоком поклоне, как настоящий гидальго, он подмел своим сомбреро пыль у ее ног и

предложил красавице руку. Они понеслись по кругу. Ардов забыл, что где-то сиротливо сижу я, что где-то у него семья, внуки . . . Он видел бездонные зрачки, тонул в них сладко захлебываясь и забыв обо всем на свете. Блаженные минуты! И вдруг . . . Вдруг на лужайку выскочил замызганный мальчуган и исступленно завопил:

— Полиция!

Музыканты, как вспугнутые птицы, взмахнув своим пестрым оперением, вспорхнули и исчезли в глубине кустов. Растерявшиеся туристы непонимающе заспешили к цивилизованным аллеям. Обожженный горячим поцелуем Гриша увидел лишь стройные ножки и яркие юбки, мелькнувшие перед ним в последний раз в его жизни . . . и все стало тихо . . . Никого и ничего. Ни полиции, ни «мучачи», ни . . . бумажника . . .

Так рассказал мне, мой бедный и бледный друг.

— Что делать? — плакался он, смотря на меня глазами лани. — Ведь там и деньги, и документы. Не видать мне теперь Америки, как своих ушей.

Это было ужасно. Я не мог его ругать. Мне было так жаль моего увлекающегося приятеля. Будем откровенны: может быть и со мной могло бы случиться подобное. Какая гарантия? Никакой, уверяю.

— Ах, Гриша, Гриша, согрешить захотел?

— Согрешить, — криво улыбнулся он. — Нет, милый, я сейчас в таком критическом возрасте, когда не я ухожу от греха, а грех уходит от меня . . . И вспоминаются мне слова Толстого «мы люди, как пузырьки, выскакиваем, лопаемся и исчезаем». Считайте, что в Америке на один пузырек меньше. И все это, — закончил Гриша, — эти зловредные ванны в Икстапане. Костич, дайте мне воды.

Я, отогнав в сторону окурки и апельсиновые корки, зачерпнул из канала графином воду и подал ему. Он взял и только в последнюю секунду перед моими глазами вспыхнул плакат, виденный давным давно в Конотопе.

— Не пей сырой воды! — Но было поздно — он хлебнул.

Мы побрели на место происшествия.

— Вот тут, — рассказывал он, — стояла она, вон там, — музыканты, здесь мы начали вальс и вот тут... Костич, Костич, вот он бумажник, вот, лежит. Боже мой, я уронил его сам в экстазе, а заподозрил бедную девушку!..

Но я смотрел на вещи более трезво.

— Проверьте, — сказал я сурово.

— Только документы и «травельчековая» книжка. Наличности нет.

— И за это спасибо. Можете посмотреть на свои уши.

— Какие уши?

— Ну, вы же говорили, что не видать вам Америки, как своих ушей...

Вода выпитая в парке, оказала свое целебное действие и Гриша с резями в животе остался в отеле, а я пошел побродить...

6. (У)БОЙ БЫКОВ

Закаленный в одесской Спарте Ардов встал, как встрепанный и на другой день мы пошли смотреть игру в мяч. Она называется «хайалай». Ее в Мексике очень любят и даже делают ставки.

В чем заключается игра?

Публика сидит за стальной высокой сеткой и кричит. Это ее функция. А на площадке, перед ней стоят игроки и у них — специальные корзинки для ловли мяча на той руке, которой они решительно подхватывают летящий от каменной стены мяч.

Все это делается очень быстро и если игрок зазевается и твердый мяч ударит его в голову, то этот игрок уже на долгое время переходит на роль зрителя.

Шум от криков, реплик, едких замечаний и выкрикивания ставок — невообразимый. Несколько сот зрителей, следя за полетом мяча, одновременно вертят головами то вправо, то влево. Очень смешно. Мы пытались этого не делать, но невозможно — стадный инстинкт. Как все, так и мы.

Кстати, вернувшись домой в Америку, я в магазине «Бон-Марше» уже видел в продаже и этот мяч, и эту корзинку. Может привьется со временем.

Теперь у нас на повестке дня был «Бой быков». Летом он устраивается только по воскресеньям. Нам было очень интересно его посмотреть, да и неудобно как-то вернувшись сказать: «А мы боя быков не видели. Мы стоим выше этого» . . .

Мы стоим ниже и поэтому пошли, взяв хорошие места.

Мексика и Испания предпочитают делать это публично, торжественно, но кустарно, а в Чикаго это дело мехнизировано до предела и проводится значительно гуманнее и безо всякого риска для рабочего, ибо если бы ему предложили это делать так, как в Мексике, то и рабочие и быки забастовали, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Нашлись бы «пацифисты», которые бы начали пикетировать быка, ходя вокруг него

с плакатами вроде: «Жизнь быку!», «Не ешьте мяса», «Бык тоже животное» и тому подобное.

Но никого это не убедит.

Хотя арена, где проводится «действо» и называется спортивной, но в этом виде «спорта» я ничего спортивного не нахожу. Арена огромная. На ней есть солнечная сторона и теневая. Это и не удивительно, ибо в нашей жизни с каждым днем теневых сторон становится все больше. Сидеть на солнце дешевле и жарче, а напротив — напротив. Мы пошли в тень. Я вообще предпочитаю держаться в тени. Гриша — нет.

Что можно сказать о бое быков устами русского человека? Помпезное, красивое, шумное, эффектное зрелище, работающее всегда без убытка. Но не для нас оно. Мне кажется, что можно всю жизнь прожить в Мексике, так и не полюбить бой быков. Любовь к этому должна быть в крови и передаваться из поколения в поколение. Всякий русский увидев согласится со мной.

Если бы рев многотысячной толпы записать на пленку, то крик американцев, смотрящих игру в бэйсболл на звание чемпиона мира между американскими командами — детский лепет.

То, что вы услышите здесь, в Мексике, это всемирный потоп, последние дни Помпеи — одним словом стопроцентное стихийное бедствие и, в то же время, все смеются, все довольны. Темперамент! Мы, конечно, тоже кричали, вопили, бросали шляпы (но так, чтобы сами могли их поймать).

— Оле! Оле!

И несомненно, что и я и Гриша больше делали вид. Неудобно, как-то сидеть в гостях и не звучать в унисон с хозяевами.

Народ орет, орем и мы!

Гремят оркестры, масса красок, пестроты и шума. Все очень привлекательно, но не для нас. Внизу ведь ради нашего удовольствия может каждую минуту погибнуть молодой, красивый, в расцвете сил, мужчина. И за то, что это может случиться, мы уплатили по пять долларов. Дешевка.

Ну, бык — это уж другое дело: если не здесь, на арене, то на бойне, но его удел так или иначе — умереть не своей смертью. А вот — человек! Человек — это звучит гордо. И вдруг — петерка!

Когда бык выбегает на арену после спокойного, полутемного и прохладного стойла, он ошеломлен и светом, и шумом, и ревом тех животных, которые окружают его со всех сторон, но сидят в недоступной безопасности. Он растерян, он испуган, он ошеломлен и стоит оглядываясь по сторонам. Это никого не устраивает. Специальные «раздражители», именуемые пикадорами, на лошадях с заклеенными глазами, животы и бока которых укутаны в плотные одеяла, чтобы рог быка не прободал ее прежде времени, колют пиками тело обреченного зверя и приводят его в бешенство. Этого только от него и ждут. Он свирепо бросается на ничего невидящую лошадь и единым взмахом опрокидывает наземь и ее и седока. Он добил бы обоих и, может быть его бы отпустили опять в поле, на травку, но его отвлекают и игра на потеху толпы продолжается.

Когда крови уже достаточно и бык устал от своих истязателей, выходит очередная знаменитость и под бурные овации озверевшей толпы вонзает шпагу в быка так, чтобы достать до его усталого сердца. Тот падает на колени, победитель с опаской ставит ногу на его голову и . . . тогда на арену летит все, а восторженный

шквал воплей провожает оставшегося в живых тореодора.

Затем тройка лошадей утаскивает с арены облитую кровью тушу. Для первого трупа оркестр сыграл «Подмосковные вечера». Мы были приятно удивлены.

Второй и третий бык были с некоторыми отклонениями повторением первого. Причем третий продал свою жизнь дороже. Его убийцу тоже унесли. Он был, как большая ватная кукла. Все в нем обвисло и обмякло. Но на арену выбежал другой претендент на такую же «удачу» и первый был сразу же забыт, равнодушной к страданиям, толпой.

Слишком много крови, слишком. Наше врожденное благородство и тяга к справедливости толкали нас к демонстративному уходу, но жаль было выброшенных денег. Когда мы плелись домой, Ардов внезапно сказал:

— А вы знаете, Костич, я стихи сочинил в честь боя быков, — и начал: — «Нет у быка боевого задора, зверь окружен похоронным конвоем. В Мексике бык называется торо, а матадор по ошибке героем. В ярком наряде ни славы, ни толку. Тешатся люди забавою дикой. Жгучею болью вонзаются в холку, с пестрыми лентами пики за пикой». Ну, что хорошо?

— Даже очень неплохо, но по-моему это стихи Владислава Эллиса. Я их читал в газете . . .

— Что вы говорите?! — удивился Гриша. — То-то они мне так легко дались . . . Чудеса . . .

Теперь бои быков можно посещать не выезжая за границу и не увозя драгоценных долларов. С буквальной точностью в г. Хаустон (шт. Техас) оборудована арена, выращены и воспитаны быки, а тореодоры пока приезжают из Мексики и Испании, но со временем бу-

дут и свои, конечно. И уже какой-нибудь деляга помышляет, как он организует — «юнион деятелей (у)боя быков», и как в самый интересный момент (все билеты проданы на весь сезон, люди съехались со всех концов Америки) он объявляет «страйк», требуя повышения ставок. Ух, какие интересные перспективы!..

Время летит быстро и уже недалек и день отъезда. А жаль; ах, как жаль!

7. КУТЕЖ

Так как завтра мы должны были улетать домой, то будучи цивилизованными и культурными людьми, мы решили провести последний вечер в шикарном мексиканском ресторане.

Где наша не пропадала...

Он был вполне европейским по линии обслуживания и выбору блюд. И все же по сравнению с Америкой, цены вполне доступные. Прекрасная мебель, освещение, лакеи хорошо говорят по-английски. Есть один (специально держат), который говорит по-немецки и по-французски. Когда мы спросили о том, говорит ли кто по-русски, метрдотель смущенно сказал одно слово «ньет».

Уговорил сразу...

Публика была одета очень хорошо и со вкусом, ничуть не уступая нам, но в манерах и умении держать себя в светском обществе они позорно отставали. Галстук у Ардова был как раз к месту (он его захватил из Америки). Был он желтым и на этом фоне стояла роскошная пальма, а под ней — не менее роскошная девушка, которая пользуясь тем, что она и дерево были единственными обитателями необитаемого острова, только что вышла из воды. Это не лишало ее интеллигентности и телесообразности.

Чтобы не закапать их обоих соусом Гриша воткнул за воротник салфетку, так, что были видны только ножки красавицы. Это интриговало, но приподнять ее (салфетку) никто не решался.

Ели мы не спеша — во-первых, ради этикета, а во-вторых, чтобы растянуть время.

Когда мы занялись зубами, появился мексиканский оркестр. Вавв! Одеты музыканты были в националь-ные костюмы, конечно, но из шелка и бархата, на головах огромнейшие сомбреро с ремешками под подбородком и на шляпах были нашиты бархатные шарики, какие бывают на портьерах в дешевых гостиницах.

А как они играли! Как играли!! Такая истома, такая нега, такой жар излучали они в толпу жующих, чавкающих и пьющих, что сразу стало жарко. Певцы они тоже первоклассные, да и музыканты такие же!

Слушать мексиканскую музыку и песни в их исполнении было огромной радостью. Оказалось, что они знали не только мелодии своей чудесной родины. Из-за одного столика поднялась пара и, подойдя к оркестру, что-то сказала. Главный кивнул головой и вдруг перед нами развернулась знакомая Бавария, ее альпийские луга и горы. Музыканты заиграли какую-то немецкую мелодию для певцов «йодл», а пара запела, да еще пританцовывала. Разливистые рулады, прищелкивания по пяткам оказались удивительно по вкусу посетителям ресторана. Этой паре дружно хлопали и экспансивные мексиканцы (их в такие рестораны тоже пускают) пожимали им руки и благодарили от всей души.

Пока это происходило, Гриша исчез. У меня дрогнуло сердце: опять Мучача? Но нет, я увидел, что он шеп-

чется с дирижером оркестра. И, вдруг... О, Господи! Широким жестом Ардов сбросил на пол пиджак и взошел на маленькую эстраду... И музыканты «грянули», а Гриша пошел, но как? За неимением жилета, в проймы которого надо было просунуть пальцы, он засунул большие пальцы под мышки и «рванул»... Белая салфетка развевалась, как флаг умолявший о пощаде, но танцор не сдавался.

Танец и мелодия мне показались удивительно знакомыми, и когда под восторженные аплодисменты публики Гриша прошел к нашему столику и устало опустился на стул, я сказал не без ехидства:

— Этот «фрейлахс» я видел в Одессе в лучшем исполнении.

Покидали мы ресторан провожаемые директором и оркестром, который не нашел ничего лучшего, как сыграть нам вслед «Яблочко» Глиера.

— Костич, — сказал Гриша назидательно, — всегда надо оставлять впечатление.

— Даже на полицию?

— Все равно. Полицейские тоже люди. У них мало хороших впечатлений.

— Это правда. А у американских — с каждым днем все меньше и меньше.

На другой день, расплатившись и оставив вызвавшие всеобщее удивление «на чай», мы покинули отель и нагруженные чемоданами поехали на аэродром.

Мексиканская таможня вас не проверяет. Можете увезти хоть целую пирамиду, ей наплевать. Самое главное, чтобы вы за нее заплатили. Неприятности могут быть только в Америке. И мы полетели.

Полет был в высшей степени удачный: ни одной встречной горы, ни одной порчи мотора и ни одной вы-

нужденной посадки на бурные волны Тихого океана. И, все же, когда вдали, в туманной дымке появились сказочные очертания Лос-Анжелоса — мы приободрились... Идя на снижение, мы увидели над зданием аэропорта жизнерадостно развевающийся (потому что он американский) флаг и целиком разделили его самочувствие. А став обеими ногами на твердую землю, стали и независимее и увереннее, несмотря на предстоящие разговоры в таможне. Самолеты из-за границы снижаются в особом месте и мы стали в очередь...

8. И ДЫМ ОТЕЧЕСТВА...

Проверку документов прошли и даже не почувствовали. А вот, когда дело подошло к багажу, то я заметил, что таможенники не только служащие, но и психологи, черти!

Тут только смотри в оба. Пока стоишь — насмотришься. А посмотреть есть на что.

Вон — впереди нас солидная пара. Чиновник смотрит в открытые чемоданы, а сам беседует с хозяевами. Работа быстрая, четкая. Улыбается и отпускает. Ну, минута-буквально. Потом — дамочка приятная во всех отношениях. Она кокетничает, тот ей говорит комплименты, а сам руками так и шарит, но не между вещей (чемоданчик тощий), а по краям его. Щупает швы, подкладку, хвалит ее чудесную шляпу. Она в восторге от такого приема. Потом он со смехом просит шляпку снять. Восторг у дамы гаснет и она протестует, но «поклонник» неумолим. Получив просимое, он запускает пальцы куда-то под розовый шелк, покрытый синими цветами с желтыми листьями и тоже перестает улы-

баться. Затем «приятную во всех отношениях» уводят. Наркотики везла. Ну вы подумайте!

И Гриша начал нервно подергиваться и почесываться. Я это заметил и раньше, до отлета, но тут, на таможне, этот зуд принял просто катастрофический характер. Я считал, что это чисто нервное явление. Но на это обратили внимание и зоркие американские пограничники. Когда мы раскрыли свои чемоданы, там, конечно, ничего предосудительного обнаружено не было. Всякие статуэтки, подносы, вазы, резьбу по дереву и серебру — везли все, но все же один поседевший, так сказать, на контрабанде мастак сказал, обращаясь к Грише:

— Я вас прошу в отдельную комнату, — а потом посмотрев на мое честное открытое лицо, добавил, — да и вы, тоже пожалуйте.

Мы зашагали. Смешно протестовать, когда знаешь, что твоя совесть чиста, как собственное тело.

Первым попросили раздеться Гришу. Когда его распеленали и сняли с него роковой платок, то все его тело, в тех частях, где оно соприкасалось с тканью, покрылось тончайше воспроизведенным рисунком карты Мексики — такой, какой она была на платке. Я говорю «была», потому что платок оказался абсолютно белым, а краска перешла на Гришу. Там были и реки и озера, и города и поселки. Рисунок был безукоризненно четкий, а на самом смешном месте ардовского торса красовалось «Сделано в Японии».

Добродушные чиновники весело смеялись. Впрочем, смеялись все, кроме Гриши. Глядя на спину и грудь моего друга, я твердо поверил, что самый неопытный путешественник, держа Ардова на коленях, мог бы объехать всю Мексику, не сбившись ни разу с пути. Уж

очень наглядно была изборажена на нем топография страны.

— Это уже девятый случай, — сказал старший. — Опять Спиди Гонзалес. Идите с миром.

Гриша оделся и мы пошли. Сбоку плелся я, размахивая, пока мы шагали, платком, как белым флагом.

Мы вышли на площадь, где большой автобус повез желающих осматривать Лос-Анжелос и овеянный легендами, заманчивый «Голый Вуд». При въезде в город на глазах у всех показались слезы. Были ли это слезы умиления — не знаю, но Гриша воскликнул:

— И «смог» отечества нам сладок и приятен!

А когда мы увидели людей жующих резину, и почувствовали запах жареной кукурузы, мы поняли, что мы по-настоящему дома, в родной нам Америке.

И слава Богу!



СОДЕРЖАНИЕ



VICTOR KAMKIN, Inc.

Publishers • Booksellers

410 COLUMBIA ROAD, N. W. – WASHINGTON, D. C. 20009 – NORTH 7-0690

СОБСТВЕННЫЕ ИЗДАНИЯ

Аверченко Аркадий — Избранное. 178 стр.	2.00
Адамович Георгий — Комментарии. 208 стр.	3.00
Альтшуллер Г. — Дело Тверитинова. Историч. роман в 2-х кн. 294+316 стр.	6.50
Бутков В. — Творчество М. Ю. Лермонтова. Расширенный доклад, прочитанный в нашем магазине. 80 стр.	1.50
Врангель Л., баронесса — Воспоминания и стародавние времена. 202 стр.	2.50
Гумилев Н. С. — Собрание сочинений, в 4-х тт. под ред. проф. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. тт. 2 и 3 по	7.50
Гумилев, Н. — Собрание сочинений, том 4	8.00
Ефремов В. Н. — Очерки по истории русской литературы XIX в. 351 стр.	4.00
Иваск Ю. — Хвала. Стихи. 61 стр.	1.50
Климов Е. — Русские женщины по изображениям русских художников. 35 стр. и 71 рис.	1.00
Корвин-Пиотровский В. — Поздний гость. Стихи. т. 1. 1968. 234 стр.	3.50
Корн Д. — Русский глагол.	4.50
Кузнецова Галина — Грасский Дневник. (О И. А. Бунине). 1967. 315 стр.	4.50
Лахман Гизелла — Зеркала. 2-я книга стихов. 74 стр. .	1.50
Легкая, Ирина — Попутный ветер. Стихи. 62 стр. . .	2.00
Лукаш Иван — Бедная любовь Мусоргского. Роман. 193 стр.	3.00
Моршен Николай — Двоеточие. Стихи. 68 стр. . . .	1.75
Одоевцева Ирина — На берегах Невы. Воспоминания 491 стр.	7.50
Петров В. П. — Албазинцы в Китае. Историч. справка 45 стр.	0.50
„ — Китайские рассказы. 58 стр.	1.00
„ — Российская Духовная Миссия в Китае. 1968. 95 стр.	2.00
„ — Сага Форта Росс. Историч. роман в 2-х кн. 190+182 стр.	3.70
Робсман В. — Рассказы и очерки. 148 стр.	1.50

Северянин Игорь — собрание поэзии, в 4-х тт.
Переизданы:
т. 1 — Громокипящий кубок. 202 стр. 2.50
т. 2 — Златолира. 215 стр. 2.50
т. 3 — Ананасы в шампанском. 147 стр. . . 1.75
Содружество. Из современной поэзии Русского Зарубежья. 565 стр. 6.00
В твердом переплете 7.00
Соловьев Вс. — Хроника четырех поколений.
— Сергей Горбатов. Историч. роман, в 2-х кн. 329+258 стр. 4.50
— Вольтерьянец. Историч. роман в 2-х кн. 251+244 стр. 5.00
— Изгнанник. Историч. роман, в 2-х кн. 251+244 стр. 6.00
— Старый дом. Историч. роман в 2-х кн. . . 6.00
— Последние Горбатовы. Историч. роман, в 2-х кн. 174+276 стр. 5.50
Сологуб Ф. — Одна любовь. Стихи. 54 стр. 1.00
Столетняя годовщина прихода русских эскадр в США. Статьи В. П. Петрова, А. Г. Тарсаидзе и А. Долгополова. 84 стр. 1.50
Терапиано Ю. — Избранные стихи. 110 стр. 1.50
Ульянов Н. И. — Северный Тальма. К 150-летию взятия русскими войсками Парижа в 1814 г. (Доклад, прочитанный в нашем магазине). 32 стр. . 1.00
Федорова Нина — Жизнь. Роман в 3-х книгах. 204+217+243 стр. 7.50
Фесенко Т. — Глазами туриста. Европейские впечатления. 142 стр. 2.00
Филиппов Б. А. — Кресты и перекрестки. Очерки и рассказы. 160 стр. 1.50
Шиповников М. — Из чащи промелькнувших лет. Стихи. 66 стр. 2.00
„ — Почти автобиография. 90 стр. . . . 1.50

КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ НА СКЛАД
ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В США И КАНАДЕ

Бертенсон С. — Вокруг искусства. Холливуд 57. 413 стр. 3.50
„ В Холливуде с В. И. Немировичем-Данченко (1926—1927). По материалам архива С. Л. Бертенсона составил К. Аренский. 1964. 168 стр. 2.00
Болотина К. — Русская душа в изгнании, рассказы 1967 г. 186 стр. 3.00
Вадимов Евгений — Корнеты и звери (Славная школа). Нью-Йорк. 66 стр. 1.00
Димер Евгений — Дальние пристани (стихи) 1967. 74 стр. 2.00

Каневский, Д. — На Запад. Повесть. 178 стр. . . .	**2.00**
Катенев Н. и. — Повесть о двух друзьях. 335 стр. Париж, 1964	**4.00**
Квесит Евгения — Голубые дороги (стихи 1930—67) 32стр.	**1.00**
Лахман Гизела — Плененные слова (стихи). Нью-Йорк .	**1.50**
Магула Д. А. — Фата Моргана. Нью-Йорк 1963. 94 стр. .	**2.00**
„ Свет вечерний. Париж 1931. 140 стр. .	**2.00**
Маслей Ольга — Сами по себе, роман. Нью-Йорк 1967. 330 стр.	**5.00**
Материалы для истории русских студенческих корпораций. Вып. 1. Под ред. Д. А. Левицкого и А. Я. Флауме. Нью-Йорк 1965. 42 стр. .	**1.50**
Никифоров-Волгин. — Земля-именинница (рассказы). Переизд. с издания Таллин. 182 стр. . . .	**1.50**
Персидская Лилия — Сказки. Иллюстр. изд. Нью-Йорк. 116 стр.	**2.50**
Полторацкий Н. — Бердяев и Россия. 262 стр. . . .	**3.75**
Рязановский В. А. — Обзор русской культуры. Историч. очерк. Ч. 1 636 стр., Ч 2 556 стр., Ч 2 вып. 2 212 стр. 3 книги	**22.50**
Его же — Развитие русской научной мысли в XVIII—XX ст. 130 стр.	**2.50**
Рубисов Г. — Судьба или сила совершаемости (Квадрилогия, пьеса в 4-х действ). Париж 1963. 207 стр.	**2.50**
Рубисова Елена — Огни Азии. Путешествие на Восток Богато иллюстр. издание на меловой бумаге. Париж 1961. 363 стр.	**4.50**
Сабурова Ирина — Счастливое зеркало, рассказы. Мюнхен. 196 стр. (в переплете)	**3.50**
Уоллес Э. — Тройка из Кордовы, роман. 160 стр. Бруклин	**2.00**
Фесенко Андрей и Татьяна — Русский язык при Советах. Нью-Йорк 1955. 222 стр.	**3.00**
Фесенко Татьяна — Повесть кривых лет. Нью-Йорк 1963. 220 стр.	**4.00**
Яконовский, Е. — Водяные лилиии. Роман. Париж. 1962. 133 стр.	**1.50**